

Митрополит Сурожский Антоний

О Встрече

© Электронная библиотека "Митрополит Сурожский Антоний"

Содержание

Без записок

"Жизнь для меня – Христос..."

Христианство сегодня

“Церковь должна быть так же бессильна, как Бог...”

“Мы должны нести в мир веру — не только в Бога, но в человека...”

"У нас есть что сказать о человеке"

 Ответы на вопросы. Часть 1

 От редакции

 Ответы на вопросы. Часть 2

О вере, образовании, творчестве

О некоторых категориях нашего тварного бытия

 Ответы на вопросы

О призвании человека

О свободе и подвиге

Как жить с самим собой

О встрече

 Ответы на вопросы

О богослужении и стиле христианской жизни

Духовность и духовничество

Мысли о религиозном воспитании детей

Без записок¹

Расскажите, пожалуйста, о Вашем детстве...

У меня очень мало воспоминаний детства; у меня почему-то не задерживаются воспоминания. Отчасти потому, что очень многое наслоилося одно на другое, как на иконах: за пятым слоем не всегда разберешь первый; а отчасти потому, что я очень рано научился – или меня научили – что, в общем, твоя жизнь не представляет **никакого** интереса; интерес представляет то, **для чего** ты живешь. И поэтому я никогда не старался запоминать ни события, ни их последовательность – раз это никакого отношения ни к чему не имеет! Прав я или не прав – это дело другое, но так меня прошколили очень рано. И поэтому у меня очень много пробелов.

Родился я случайно в Лозанне, в Швейцарии²; мой дед по материнской линии, Скрыбин, был русским консулом на Востоке, в тогдашней Оттоманской империи, сначала в Турции, в Анатолии, а затем в той части, которая теперь Греция. Мой отец встретился с этой семьей, потому что тоже шел по дипломатической линии, был в Эрзеруме секретарем у моего будущего деда, познакомился там с моей матерью, и в свое время они поженились. Дед мой тогда уже вышел в отставку и проводил время – 1912-1913 годы – в Лозанне; отец же в этот период был назначен искусственно консулом в Коломбо: это было назначение, но туда никто не ездил, потому что там ничего не происходило, и человека употребляли на что-нибудь полезное – но он числился. И вот, чтобы

¹ Автобиографический рассказ Владыки Антония был записан в 1973 году. Первая публикация – журнал “Новый мир”. 1991. № 1.

² 19 июня 1914 года.

отдохнуть от своих коломбских трудов, они с моей матерью поехали в Швейцарию к ее отцу и моей бабушке.

Бабушка моя, мать моей матери, родилась в Италии, в Триесте; но Триеста в то время входила в Австро-Венгерскую империю; про ее отца я знал только, что его звали Илья, потому что бабушка была Ильинична; они были итальянцы... Мать моей бабушки позже стала православной с именем Ксения; когда бабушка вышла замуж, ее мать уже была вдова и уехала с ними в Россию.

Было их три сестры; старшая (впоследствии она была замужем за австрийцем) была умная, живая, энергичная и до поздней старости осталась такой же; и жертвенная была до конца. Она болела диабетом, напоследок у нее случилась гангрена; хотели оперировать (ей тогда было лет под восемьдесят), она сказала “нет”: ей всё равно умирать, операция будет стоить денег, а эти деньги она может оставить сестре, – так она и умерла. Так это мужественно и красиво. Младшая сестра была замужем за хорватом и крайне несчастна.

Мой дед Скрябин был в Триесте русским консулом и познакомился с этой семьей, и решил жениться на бабушке, к большому негодованию ее семьи, потому что замуж следовало сначала выдавать, конечно, старшую сестру – а бабушка была средняя. И вот семнадцати лет она вышла замуж. Она была, наверное, удивительно чистосердечной и наивной, потому что и в девяносто пять лет она была удивительно наивна и чистосердечна. Она, например, не могла себе представить, чтобы ей соврали; вы могли ей рассказать самую невозможную вещь – она на вас смотрела такими детскими, теплыми, доверчивыми глазами и говорила: “Это правда?..”

Вы пробовали? В каких случаях? При необходимости?

Конечно, пробовал. Без необходимости, а просто ей расскажешь что-нибудь несоветимое, чтобы рассмешить ее, как анекдот рассказывают. Она и я никогда не умели вовремя рассмеяться; когда нам рассказывали что-нибудь смешное, мы всегда сидели и думали. Когда мама нам рассказывала что-нибудь смешное, она нас сажала рядом на диван и говорила: я вам сейчас расскажу что-то смешное, когда я вам подам знак, вы смейтесь, а потом будете думать...

Дедушка решил учить ее русскому языку; дал ей грамматику и полное собрание сочинений Тургенева и сказал: Теперь читай и учись... И бабушка действительно до конца своей жизни говорила тургеневским языком. Она никогда очень хорошо не говорила, но говорила языком Тургенева, и подбор слов был такой.

Вы, значит, еще и итальянец?

Очень мало, я думаю; у меня реакция такая антиитальянская, они мне по характеру **совершенно** не подходят. Вот страна, где я ни за что не хотел бы жить; когда я был экзархом, я ездил в Италию, и всегда с таким чувством: Боже мой! *Надо* в Италию!.. У меня всегда было чувство, что Италия – это опера в жизни: ничего реального. Мне не нравится итальянский язык, мне не нравится их вечная возбужденность, драматичность, так что Италия, из всех стран, которые я знаю, пожалуй – последняя, где я бы поселился.

После свадьбы с бабушкой они приехали в Россию. Позже мой дед служил на Востоке, а мама была тогда в Смольном и приехала на каникулы к родителям (шесть дней на поезде из Петербурга до персидской границы, а потом на лошадях до Эрзерума), где и познакомилась с моим отцом, который был драгоманом, то есть, говоря по-русски, переводчиком в посольстве. Потом дед кончил срок своей службы, и, как я сказал, они уехали в Швейцарию – моя мать уже была замужем за моим отцом. А потом была война, и на войне погиб первый бабушкин сын; потом, в 1915 году, умер Саша, композитор; к тому времени мы сами – мои родители и я, с бабушкой же – попали в Персию (отец был назначен туда). Бабушка всегда была на буксире, она пассивная была, очень пассивная.

А мать была, видно, очень интенсивная?

Она интенсивная не была, она была энергичная, мужественная. Например, она ездила с отцом по всем горам, ездила верхом хорошо, играла в теннис, охотилась на кабана и на тигра – всё это она могла делать. Другое дело, что она совсем не была подготовлена к эмигрантской жизни, но она знала французский, знала русский, знала немецкий, знала английский, и это, конечно, ее спасло, потому что когда мы приехали на Запад, время было плохое — 1921 год и безработица, но

тем не менее со знанием языка можно было **что-то** получить; потом она научилась стучать на машинке, научилась стенографии и работала уже всю жизнь.

Как отцовские предки попали в Россию, мне неясно; я знаю, что они в петровское время из Северной Шотландии попали в Россию, там и осели. Мой дед со стороны отца еще переписывался с двоюродной сестрой, жившей на северо-западе Уэстерн-Хайлендс; она была уже старушка, жила одна, в совершенном одиночестве, далеко от всего и, по-видимому, была мужественная старушка. Единственный анекдот, который я о ней знаю, это из письма, где она рассказывала деду, что ночью услышала, как кто-то лезет вверх по стене; она посмотрела и увидела, что на второй этаж подымается по водосточной трубе вор, взяла топор, подождала, чтобы он взялся за подоконник, отрубила ему руки, закрыла окно и легла спать. И всё это она таким естественным тоном описывала – мол, вот какие бывают неприятности, когда живешь одна. Больше всего меня поразило, что она могла закрыть окно и лечь спать; остальное – его дело.

Жили они в Москве, дедушка был врачом, а отец учился дома с двумя братьями и сестрой; причем дед требовал, чтобы они полдня говорили по-русски, потому что естественно – местное наречие; а другие полдня – один день по-латыни, другой день по-гречески сверх русского и одного иностранного языка, который надо было учить для аттестата зрелости, – это дома. Потом он поступил на математический, кончил, и оттуда – в школу министерства иностранных дел, дипломатическую школу, где проходили восточные языки и то, что нужно было для дипломатической службы.

Отец рано начал ездить на Восток; еще семнадцати-восемнадцатилетним юношей он ездил на Восток летом, во время каникул, верхом один через всю Россию, Турцию – это считалось полезным. Про его братьев я ничего не знаю, они оба умерли; один был расстрелян, другой умер, кажется, от аппендицита. А сестра была замужем в Москве за одним из ранних большевиков; но я не знаю, что с ней случилось, и не могу вспомнить фамилию; долго помнил, а теперь не могу вспомнить. Вдруг бы оказалось, что кто-то еще существует: со стороны отца у меня ведь никого нет...

Моя бабушка с папиной стороны была моей крестной; на крестинах не присутствовала, только “числилась”. Вообще, думаю, это не особенно всерьез принималось, судя по тому, что никто из моих никогда в церковь не ходил до того, как впоследствии я стал ходить и их “водить”; отец начал ходить до меня, но это было уже значительно позже, после революции, в конце двадцатых - начале тридцатых годов.

В Лозанне в 1961 году я встретил священника, который меня крестил. Была очень забавная встреча, потому что я приехал туда молодым епископом (молодым по хиротонии), встретил его, говорю: “Отец Константин, я так рад вас снова повидать!” Он на меня посмотрел, говорит: “Простите, вы, вероятно, путаете, мы, по-моему, с вами не встречались”. Я говорю: “Отец Константин! Как вам не стыдно, мы же с вами знакомы годами – и вы меня не узнаете?!” – “Нет, простите, не узнаю...” – “Как же, вы меня крестили!,” Ну, он пришел в большое возбуждение, позвал своих прихожан, которые там были: смотрите, говорит, я крестил архиерея!.. А в следующее воскресенье я был у него в церкви, посередине церкви была книга, где записываются крестины, он мне показал, говорит: “Что же это значит, я вас крестил Андреем – почему же вы теперь Антоний?” В общем, претензия, почему я переименовал имя. А потом он служил и читал Евангелие по-русски, и я не узнал, что это русский язык был... Говорили мы с ним по-французски, служил он по-гречески, а Евангелие в мою честь читал на русском языке, – хорошо, что кто-то мне подсказал: вы заметили, как он старался вас ублажить, как он замечательно по-русски читает?.. Ну, я с осторожностью его поблагодарил.

Месяца два после моего рожденья мы прожили с родителями в Лозанне, а потом вернулись в Россию. Сначала жили в Москве, в теперешнем Скрябинском музее, а в 1915-1916 году мой отец был снова назначен на Восток, и мы уехали в Персию. И там я провел вторую часть относительно раннего детства, лет до семи.

Воспоминаний о Персии у меня ясных нет, только отрывочные. Я, скажем, глазами сейчас вижу целый ряд мест, но я не мог бы сказать, где эти места. Например, вижу большие городские ворота; это может быть Тегеран, может быть, Тавриз, а может быть и нет; почему-то мне снится,

что это Тегеран или Тавриз. Затем мы очень много ездили, жили примерно в десяти разных местах.

Потом у меня воспоминание (мне было, я думаю, лет пять-шесть), как мы поселились недалеко, кажется, от Тегерана, в особняке, окруженном большим садом. Мы ходили его смотреть. Это был довольно большой дом, весь сад зарос и высох, и я помню, как я ходил и ногами волочил по сухой траве, потому что мне нравился треск этой сухой травы.

Помню, у меня был собственный баран и собственная собака; собаку разорвали другие, уличные собаки, а барана разорвал чей-то пес, так что все это было очень трагично. У барана были своеобразные привычки: он каждое утро приходил в гостиную, зубами вынимал из всех ваз цветы и их не ел, но клал на стол рядом с вазой и потом ложился в кресло, откуда его большей частью выгоняли; то есть в свое время всегда выгоняли, но с большим или меньшим возмущением. Постепенно, знаете, всё делается привычкой; в первый раз было большое негодование, а потом просто очередное событие: надо согнать барана и выставить вон...

Был осел, который, как все ослы, был упрям. И для того, чтобы на нем ездить, прежде всего приходилось охотиться, потому что у нас был большой парк, и осел, конечно, предпочитал пастись в парке, а не исполнять свои ослиные обязанности. И мы выходили целой группой, ползали между деревьями, окружали зверя, одни его пугали с одной стороны, он мчался в другую, на него накидывались, и в конечном итоге после какого-нибудь часа или полутора часов такой оживленной охоты осел бывал пойман и оседлан. Но этим не кончалось, потому что он научился, что если до того, как на него наложат седло, он падет наземь и начнет валяться на спине, то гораздо труднее будет его оседлать. Местные персы его отучили от этого тем, что вместо русского казачьего седла ему приделали персидское деревянное, и в первый же раз, как он низвергся и повалился на спину, он мгновенно взлетел **с воём**, потому что больно оказалось. Но и этим еще не кончалось, потому что у него был принцип: если от него хотят одного, то надо делать другое, и поэтому если вы хотели, чтобы он куда-то двигался, надо было его обмануть, будто вы хотите, чтобы он не шел. И самым лучшим способом было воссесть очень высоко на персидское седло, поймать осла за хвост и потянуть его назад, и тогда он быстро шел вперед. Вот воспоминание.

Еще у меня воспоминание о первой железной дороге. Была на всю Персию одна железная дорога, приблизительно в пятнадцать километров длиной, между не то Тегераном, не то Тавризом и местом, которое называлось Керманшах и почиталось (почему – не помню) местом паломничества. И всё шло замечательно, когда ехали из Керманшаха в город, потому что дорога под гору шла. Но когда поезд должен был тянуть вверх, он доходил до мостика, вот такого с горбинкой, и тогда все мужчины вылезали, и белые, европейцы, люди знатные шли рядом с поездом, а люди менее знатные толкали. И когда его протолкнут через эту горбинку, можно было снова садиться в поезд и даже очень благополучно доехать, что было, в общем, очень занимательно и большим событием: ну подумайте – пятнадцать километров железной дороги!

Затем, когда мне было лет семь, я сделал первое великое открытие из европейской культуры: первый раз в жизни видел автомобиль. Помню, бабушка подвела меня к машине, поставила и сказала: “Когда ты был маленький, я тебя научила, что **за** лошадьёю не стоят, потому что она может лягнуться; теперь запомни: **перед** автомобилем не стоят, потому что он может пойти”. Тогда автомобили держались только на тормозах, и поэтому никогда не знаешь, пойдет или не пойдет.

Были у вас какие-нибудь гувернеры?

В Персии была русская няня на первых порах; потом был период, примерно с 1918 по 1920 год, когда никого не было – бабушка, мама; были разные персы, которые научили ездить верхом на осле и подобным вещам. Из культурной жизни ничего не могу сказать, потому что не помню, в общем, ничего. Было блаженное время – в школу не ходил, ничему меня не учили, “развивали”, как бабушка говорила. Бабушка у меня была замечательная; она страшно много мне вслух читала, так что я не по возрасту много “читал” в первые годы: “Жизнь животных” Брема, три-четыре тома, все детские книги – можете сами себе представить. Бабушка могла читать часами и часами, а я мог слушать часами и часами. Я лежал на животе, рисовал или просто сидел и слушал. И она умела читать; во-первых, она читала красиво и хорошо, во-вторых, она умела сделать паузу в те

моменты, когда надо было дать время как-то отреагировать; периодически она переставала читать, мы ходили гулять, и она затевала разговоры, о чем мы читали: нравственные оценки, чтобы это дошло до меня не как развлечение, а как вклад, и это было очень ценно, я думаю.

В 1920 году мы начали двигаться из Персии вон: перемена правительства, передача посольства и т.д. Отец остался, а мать, бабушка и я, мы пустились в дорогу куда-то на Запад. У нас был дипломатический паспорт на Англию, куда мы так никогда и не доехали; вернее, доехали, но уже значительно позже, в 1949 году. И вот отчасти верхом, отчасти в коляске проехали по северу Персии глубокой зимой, под конвоем разбойников, потому что это было самое верное дело. В Персии в то время можно было ездить под двумя конвоями: или разбойников, или персидских солдат. И самое неверное дело был конвой персидских солдат, потому что они **непременно** вас ограбят, но вы на них жаловаться не можете: как же так? мы и не думали их грабить! мы же их защищали! кто-то на них напал, но мы не знаем, – наверное, переодетые!.. Если показывались разбойники, конвой сразу исчезал: зачем же солдаты будут драться, рисковать жизнью, чтобы их еще самих ограбили?! А с разбойниками было гораздо вернее: они либо охраняли вас, либо просто грабили.

Ну вот, под конвоем разбойников мы и проехали весь север Персии, перевалили через Курдистан, сели на баржу, проехали мимо земного рая: еще вплоть до Второй мировой войны там показывали земной рай и дерево Добра и Зла – там, где Тигр и Евфрат соединяются. Это замечательная картина: Евфрат широкий, синий, а Тигр быстрый, и воды его красные, и он врезается в Евфрат, и несколько сот метров еще видно в синих водах Евфрата струю красных вод Тигра... И вот там довольно большая поляна в лесу и посреди поляны огражденное решеточкой **маленькое** иссохшее деревце: вы же понимаете, что оно, конечно, высохло с тех пор... Оно всё увешено маленькими тряпочками: на Востоке в то время (не знаю, как теперь), когда вы проходили мимо какого-нибудь святого места, то отрывали лоскут одежды и привешивали к дереву или к кусту или, если нельзя было это сделать, клали камень, и получались такие груды. И там это деревце стояло; оно чуть не потерпело крушение, потому что во время Второй мировой войны американские солдаты его вырыли, погрузили на джип и собирались уже везти в Америку: дерево Добра и Зла – это же куда интереснее, чем перевезти какой-нибудь готический собор, всё-таки гораздо старше. И местное население их окружило и **не дало** джипу двигаться, пока командование не было предупреждено и их не заставили врыть обратно дерево Добра и Зла. Так что оно еще, вероятно, там и стоит...

В этот период я в первый и в последний раз курил. На пути было удивительно голодно и еще более, может быть, скучно, и я все ныл, чтобы мне что-нибудь дали съесть, чтобы скоротать время. А есть было нечего, и моя мать пробовала отвлечь мое внимание папиросой. В течение недели я пробовал курить, пососал одну папиросу, пососал другую, пососал третью, но понял, что папироса – это чистый обман, что это не пища и не развлечение, и на этом кончилась моя карьера курильщика. Потом тоже не курил, но совсем не из добродетельных соображений. Мне говорили: закуришь, как все, – а я не хотел быть, как все. После говорили, что закуришь, когда попадешь в анатомический театр, потому что иначе никто не выдерживает, и я решил – **умру**, но не закурю; говорили, что когда попаду в армию, закурю; но так и не закурил.

Так мы доехали до Басры, и так как в то время в океане были мины, то самый короткий путь на запад был от Басры в Индию, и мы поехали на восток, к Индии; там прожили с месяц, и единственное, что я помню, это красный цвет бомбейских зданий; высокие башни, куда парсы складывают своих усопших, чтобы их хищные птицы съели, и целые стаи орлов и других хищных птиц кружили вокруг этих башен; это единственное воспоминание, которое у меня осталось, кроме еле выносимой жары.

А затем нас отправили в Англию, и тут я был полон надежд, которые, к сожалению, не оправдались. Нас посадили на корабль, предупредив, что он настолько обветшал, что, если будет буря, он **непременно** потерпит крушение. А я начитался “Робинзона Крузо” и всяких интересных вещей и, конечно, **мечтал** о буре. Кроме того, капитан был полон воображения, если не разума, и решил, что всем членам семьи зараз погибать не надо, и поэтому маму приписал к одной спасательной лодке, бабушку – к другой, меня – к третьей, чтобы хоть один из нас выжил, если

будем погибать. Мама очень несочувственно отнеслась к мысли о кораблекрушении, и я никак не мог понять, как она может быть такой неромантической.

Двадцать три дня мы плыли из Бомбея до Гибралтара, а в Гибралтаре так и стали: корабль решил никогда больше не двигаться никуда. И нас высадили, причем большую часть багажа мы получили, но один большой деревянный ящик уплыл, то есть был перевезен в Англию, и мы получили его очень много лет спустя; англичане нас где-то отыскали и заставили уплатить фунт стерлингов за хранение. Это было громадное событие, потому что это был один из тех ящиков, куда в последнюю минуту вы сбрасываете все то, что в последнюю минуту вы **не можете** оставить. Сначала мы разумно упаковали то, что **нужно** было, потом – что **можно** было, и оставили то, что **никак** уже нельзя было взять, а в последнюю минуту – сердце не камень, и в этот ящик попали самые, конечно, драгоценные вещи, то есть такие, которые меня как мальчика потом интересовали в тысячу раз больше, чем теплые белье или полезные башмаки. Но это случилось уже позже.

И вот мы пропутешествовали через Испанию, и единственное мое воспоминание об Испании – это Кордова и мечеть. Я ее не помню глазами, но помню впечатление какой-то дух захватывающей красоты и тишины. Затем север Испании: дикий, сухой, каменистый и который так хорошо объясняет испанский характер.

Затем попали в Париж, и там я сделал еще два открытия. Одно: впервые в жизни я обнаружил электричество – что оно вообще существует. Мы куда-то въехали, было темно, и я остановился и сказал: надо лампу зажечь. Мама сказала: нет, можно зажечь электричество. Я вообще не понимал, что это, и вдруг услышал: чик – и стало светло. Это было большим событием; знаете, в позднейших поколениях этого не понять, потому что с этим рождаются; но тогда это было такое непонятное явление, что может **вдруг** появиться свет, **вдруг** погаснуть, что не надо заправлять керосиновую лампу, что она не коптит, что не надо чистить стекла – целый мир вещей исчез...

А второе открытие – что есть люди, которых на улице давить нельзя. Потому что в Персии было так: по улице мчится всадник или коляска, и всякий пешеход спасает свою жизнь, кидаясь к стене; если ты недостаточно быстро кинулся, тебя кнутом огреют, а если не кинешься – тебя опрокинут: сам виноват, чего лезешь под ноги лошади! И вот мы ехали, по-моему, в первый день с вокзала на такси по Елисейским полям, то есть по громадной улице, – тогда почти не было автомобилей, всё было очень открыто, не было никаких магазинов вдоль улицы, это было очень красиво, – и вдруг я вижу: посреди улицы стоит человек и никуда не кидается, просто стоит, как вкопанный, и коляски, автомобили вот так проходят. Я схватил маму за руку, говорю: Мама! Его надо спасти!.. Мы ведь тоже были на машине, могли остановиться и сказать: скорей, скорей влезай, спасем!.. И мама мне сказала: Нет, это городской. – Ну так что же, что он городской?! Мама говорит: Городового нельзя давить... Я подумал: это же чудо! Если стать городовым, то можно на всю жизнь спастись от всех бед и несчастий!.. Со временем я несколько переменял свои взгляды, но в тот момент я действительно переживал это как дипломатический иммунитет: стоишь – и тебя не могут раздавить! Вы понимаете, что это значит?! Вот это было второе большое событие в моей европейской жизни.

Это все, что я тогда в Париже обнаружил. Потом мы поехали в Австрию – все в поисках какой-нибудь работы для матери, – а в Австрии еще была жива бабушкина старшая сестра, которая была замужем за австрийцем. Потом поехали в северную Югославию, в область Загреба и Марибора. Там мы жили какое-то время на ферме, мне было тогда лет семь, и я что-то подрабатывал, делая никому, вероятно, не нужные какие-то работы. Затем снова вернулись в Австрию, потому что в Югославии нечего было делать, и полтора года сидели в Вене.

И там мне пришлось пережить первые встречи с культурой: меня начали учить писать и читать, и я этому поддавался очень неохотно. Я никак не мог понять, зачем это мне нужно, когда можно спокойно сидеть и слушать, как бабушка читает вслух – так гладко, хорошо, – зачем же еще что-то другое? Один из родственников пытался меня вразумить, говоря: видишь, я хорошо учился, теперь имею хорошую работу, хороший заработок, могу поддерживать семью... Я его только спросил: ты не мог бы делать это за двоих?

Так или иначе, в Вене я попал в школу и учился года полтора и отличился в школе очень позорным образом – вообще школа мне не давалась в смысле чести и славы. Меня водили как-то в зоологический сад, и, к несчастью, на следующий день нам задали классную работу на тему “чем вы хотите быть в жизни”. И, конечно, маленькие австрияки написали всякие добродетельные вещи: один хотел быть инженером, другой – доктором, третий еще чем-то; а я был так вдохновлен тем, что видел накануне, что написал – даже с **чудной**, с моей точки зрения, иллюстрацией – классную работу на тему: “Я хотел бы быть обезьяной”. На следующий день я пришел к школе с надеждой, что оценят мои творческие дарования. И учитель вошел в класс и говорит: вот, мол, я получил одну из ряда вон выдающуюся работу. “Встань!” Я встал – и тут мне был разнос, что “действительно видно: русский варвар, дикарь, не мог ничего найти лучшего, чем возвращение в лоно природы” и т.д. и т.п.

Вот это основные события из школьной жизни там. Два года назад я впервые снова попал в Вену и наговаривал ленты для радио; и тот, кто делал запись, меня спросил, был ли я когда-нибудь в Вене. “Да”. - “А что вы тогда делали?” – “Я был в школе”. – “Где?” – “В такой-то”... Оказалось, что мы одноклассники, после пятидесяти лет встретились; ну, конечно, друг друга не узнали, и дальше знакомство не пошло.

А на каких языках вы с детства говорили?

Меня с детства заставляли говорить по-русски и по-французски; по-русски я говорил с отцом, по-французски – с бабушкой, на том и на другом языке с матерью. И единственное, что было запрещено, это мешать языки, это преследовалось очень строго, и я к этому просто не привык. Ну, по-персидски говорил свободно. Это я, конечно, забыл в течение трех-четырёх лет, когда мы уехали из Персии, но интересно, что когда я потом жил в школе-интернате и во сне разговаривал, видел сны и говорил, я говорил по-персидски, тогда как наяву уже ни звука не мог произнести и не мог понять ни одного слова. Любопытно, как это где-то в подсознании осталось, в то время как из сознания изгладилось совершенно. Потом немецкий: меня в раннем детстве научили произносить немецкий по-немецки, это очень помогло и теперь помогает. В хорошие дни у меня по-немецки, в общем, меньше акцента, чем по-французски. Когда ты год не говоришь на каком-то языке, потом ты уже ничего не можешь. Но самый замечательный комплимент я не так давно получил о моем немецком от кёльнского кардинала, который был слеп; когда я с ним познакомился, мы с ним поговорили и он мне сказал: “Можно вам задать нескромный вопрос?” Я говорю: Да. — “Каким образом вы, немец, стали православным?” Я задрал нос, потому что слепой человек большей частью чуток на звук. Но это был хороший день просто, потому что в более усталые дни я не всегда так хорошо говорю, но могу, когда случится... Испанский – читаю; итальянский – это вообще не проблема; голландский – легкий, потому что страшно похож на немецкий язык XII-XIII веков. Когда голова совсем дуреет, читаю для отдыха немецкие стихи этой эпохи.

А когда вы маленьким были, были какие-то обязанности, или просто как рос, так и рос?

О нет! Прежде всего, с меня ничего не требовали неразумного, то есть у меня никогда не было чувства, что требуют, потому что родители большие и сильные и поэтому могут сломить ребенка. Но с другой стороны, если что-то говорилось – **никогда** не отступали. И – я этого не помню, мама мне потом рассказывала – она мне как-то раз что-то велела, я воспротивился; мне было сказано, что так оно и будет, и я два часа катался по полу, грыз ковер и визжал от негодования, отчаяния и злости, а мама села тут же в комнате в кресло, взяла книжку и читала, ждала, чтобы я кончил. Няня несколько раз приходила: Барыня, ребенок надорвется! А мама говорила: Няня, уйдите!.. Когда я кончил, вывопился, она сказала: Ну, кончил? Теперь сделай то, что тебе сказано было... Это был абсолютный принцип.

А потом принцип воспитания был такой, что убеждения у меня должны сложиться в свое время свои, но я должен вырасти совершенно правдивым и честным человеком, и поэтому мне никогда не давали повода лгать или скрываться, потому что меня не преследовали. Скажем, меня могли наказывать, но в этом всегда был смысл, мне не приходилось иметь потаенную жизнь, как иногда случается, когда с детьми обращаются не в меру строго или несправедливо: они начинают просто лгать и устраивают свою жизнь иначе.

У нас была общая жизнь; ответственности требовали от меня, – скажем, с раннего детства я убирал свою комнату: стелил постель, чистил за собой. Единственное, чему меня так и не научили, это чистить башмаки, и я уже потом, во время войны, нашел духовное основание этого не делать, когда прочел у Сирй d’Ars³ фразу, что вакса для башмаков – то же самое, что косметика для женщины, и я страшно обрадовался, что у меня есть теперь оправдание. Знаете, у всякого ребенка есть какие-то вещи, которые он находит ужасно скучными. Я всегда находил ужасно скучным пыль вытирать и башмаки чистить. Теперь-то я научился делать и то и другое. Ну, и потом все домашние работы мы делали вместе, причем именно **вместе**: не то что “пойди и сделай, а я почитаю”, а “давай мыть посуду”, “давай делать то или другое”, и меня научили, как будто.

Это еще в Персии?

Нет, тогда была совсем, насколько я помню, свободная жизнь: большой сад при посольском имении, осел, – ничего, в общем, не требовалось. Кроме порядка: никогда бы мне не разрешили пойти гулять, если не прибрал книги или игрушки, или оставил комнату в беспорядке, – это было немислимо.

И теперь я так живу; скажем, облачения и алтарь я после каждой службы убираю, даже если между службами Выноса Плащаницы и Погребения остаются какие-нибудь полтора часа, всё складываю. Именно на том основании, что в момент, когда что-то кончено, оно должно быть так закончено, как будто, с одной стороны, ничего и не случилось, а с другой стороны – всё можно начать снова: это так помогает жить!, Например, меня научили с вечера всё готовить на завтра. Мой отец говорил: мне жить хорошо, потому что у меня есть слуга Борис, который вечером всё сложит, башмаки вычистит, всё приготовит, а утром Борис Эдуардович встанет – ему делать нечего.

А маленьким вас баловали?

Ласково относились, но не баловали – в том смысле, что это не шло за счет порядка, дисциплины или воспитания. Кроме того, меня научили с самого детства ценить маленькие, мелкие вещи; а уж когда началась эмиграция, тогда сугубо ценить, скажем, **один** какой-то предмет; одна какая-нибудь вещица – это было чудо, это была радость, и это можно было ценить **годами**. Скажем, какой-нибудь оловянный солдатик или какая-нибудь книга – с ними жили месяцами, иногда годами, и за это я очень благодарен, потому что я умею радоваться на самую мелкую вещь в момент, когда она приходит, и не обесценивать ее никогда. Подарки делали, но не топили в подарках, даже тогда, когда была возможность, так что глаза не разбегались, чтобы можно было радоваться на одну вещь. На Рождество однажды я получил в подарок – до сих пор его помню – маленький русский трехцветный флаг из шелка; и я с этим флагом настолько носился, до сих пор как-то чувствую его под рукой, когда я его гладил, этот самый шелк, его трехцветный состав. Мне тогда объяснили, что это значит, что это **наш** русский флаг: русские снега, русские моря, русская кровь – и это так и осталось у меня: белоснежность снегов, голубизна вод и русская кровь.

Во Франции, когда мы попали туда с родителями, довольно-таки туго было жить. Моя мать работала, она знала языки, а жили очень розно, в частности – все в разных концах города. Меня отдали живущим в очень, я бы сказал, **трудную** школу; это была школа за окраиной Парижа, в трущобах, куда ночью, начиная с сумерек, и полиция не ходила, потому что там резали. И, конечно, мальчишки, которые были в школе, были оттуда, и мне это далось вначале **чрезвычайно** трудно; я просто не умел тогда драться и не умел быть битым. Били меня беспощадно – вообще считалось нормальным, что новичка в течение первого года избивали, пока не научится защищаться. Поэтому вас могли избить до того, что в больницу увезут, перед глазами преподавателя. Помню, я раз из толпы рванулся, бросился к преподавателю, вопия о защите, – он просто ногой меня оттолкнул и сказал: Не жалуйся! А ночью, например, запрещалось ходить в уборную, потому что это мешало спать надзирателю. И надо было бесшумно сползти с кровати, проползти под остальными кроватями до двери, умудриться бесшумно отворить дверь – и т.д.; за это бил уже сам надзиратель.

³ “Арский кюре” – Жан-Мари Вианне (1786-1859), французский святой, известный приходской священник.

Ну, били, били и, в общем, не убили! Научили сначала терпеть побои; потом научили немного драться и защищаться – и когда я бился, то бился насмерть; но **никогда в жизни** я не испытывал так много страха и так много боли, и физической, и душевной, как тогда. Потому что я был хитрая скотинка, я дал себе зарок ни словом не обмолвиться об этом дома: всё равно некуда было деться, зачем прибавлять маме еще одну заботу? И поэтому я впервые рассказал ей об этом, когда мне было лет сорок пять, когда это уже было дело отзвеневшее. Но этот год было действительно тяжело; мне было восемь-девять лет, и я **не умел** жить.

Через сорок пять лет я однажды ехал в метро по этой линии; я читал, в какой-то момент поднял глаза и увидел название одной из последних станций перед школой – и упал в обморок. Так что, вероятно, это где-то очень глубоко засело: потому что я не истерического типа и у меня есть какая-то выдержка в жизни, – и это меня так ударило где-то в самую глубину. Это показывает, до чего какое-нибудь переживание может глубоко войти в плоть и кровь.

Но чему я научился тогда, кроме того чтобы физически выносить довольно многое, это те вещи, от которых мне пришлось потом **очень** долго отучиваться: во-первых, что **всякий** человек, любого пола, любого возраста и размера, вам от рождения враг и опасность; во-вторых, что можно выжить, **только** если стать совершенно бесчувственным и каменным; в-третьих, что можно жить, только если уметь жить, как зверь в джунглях. Агрессивная сторона во мне не очень развилась, но вот эта убийственная другая сторона, чувство, что надо стать совершенно мертвым и окаменелым, чтобы выжить, – ее мне пришлось **годами** потом изживать, действительно годами.

В полдень в субботу из школы отпускали, и в четыре часа в воскресенье надо было возвращаться, потому что позже идти через этот квартал было опасно. А в свободный день были другие трудности, потому что мама жила в маленькой комнатухе, где ей разрешалось меня видеть днем, но ночевать у нее я не имел права. Это была гостиница, и часов в шесть вечера мама меня торжественно выводила за руку так, чтобы хозяин видел; потом она возвращалась и разговаривала с хозяином, а я в это время на четвереньках проползал между хозяйской конторкой и маминими ногами, заворачивал за угол коридора и пробирался обратно в комнату. Утром я таким же образом выползал, а потом мама меня торжественно приводила, и это было официальным возвращением после ночи, проведенной “где-то в другом месте”. Нравственно это было очень неприятно, – чувствовать, что ты не только лишний, но просто положительно нежеланный, что у тебя места **нет, нигде** его нет. Не так удивительно поэтому, что мне случалось в свободные дни бродить по улицам в надежде, что меня переедет автомобиль и что всё это будет **кончено**.

Были всё же очень светлые вещи; скажем, этот день, который проводился дома, был **очень** светлый, было много любви, много дружбы, бабушка много читала. Во время каникул – они были длинными – мы уезжали куда-нибудь в деревню, и я нанимался на фермы делать какие-то работы. Помню первое разочарование: работал целую неделю, должен был заработать пятьдесят сантимов, держал их в кулаке и с восторгом из этой деревни возвращался в другую деревню; шел, как мальчишка, размахивая руками, и вдруг эти пятьдесят сантимов вылетели у меня из кулака. Я их искал в поле, в траве – нигде не нашел, и мой первый заработок так и погиб.

Игрушки? Если вспоминать игрушки, я могу вспомнить – ну, помимо осла, который был на особом положении, потому что это был зверь независимый, этот русский флаг, помню двух солдатиков, помню маленький конструктор; помню, в Париже продавали тогда маленькие заводные sidcars, мотоцикл с коляской, – такой был... И потом помню первую книгу, которую я купил сам, – “Айвенго” Вальтера Скотта; “выбрал” я ее потому, что это была единственная книга в лавке; это была малюсенькая лавка и единственная детская книга. Бабушка решила, что мы можем себе позволить купить книжку, и я отправился; продавщица мне сказала: о, ничего нет, есть какая-то книжка, перевод с английского, называется “Иваноз” (французское произношение “Айвенго”), – и посоветовала не покупать. И когда я вернулся домой бабушке рассказать, она говорит: **немедленно** беги покупай, это очень хорошая книга. До этого мы еще в Вене с бабушкой прочитали, вероятно, всего Диккенса; позже я разочаровался в Диккенсе; он такой сентиментальный, я тогда не замечал этого, но это такой шарж, такая сентиментальность, что очень многое просто пропадает. Вальтер Скотт – неровный писатель, то есть он замечательный

писатель в том, что хорошо, и скучный, когда ему не удастся, а эта книга мне тогда сразу понравилась. Ну, “Айвенго” такая книга, которая не может мальчику не понравиться.

Были вещи, которых вы боялись, – темной комнаты, диких зверей?

Нет, диких зверей я не специально боялся, просто не было случая особенно бояться. Ну, бывали кабаны у нас в Персии, они были в степи, заходили в сад; бывали другие дикие звери, но они по ночам рыскали, а меня всё равно ночью из дома не пускали, поэтому ничего особенно страшного не было. А темной комнаты я боялся, но я не скрывал таких вещей. С одной стороны, надо мной никогда не смеялись ни за какие страхи, ни за какие предрассудки, детские свойства; а отец в те периоды, когда мы были вместе, во мне развивал мужественные свойства просто рассказами о мужественных поступках, о том, какие были люди, и поэтому я сам тянулся к этому. Не к какому-то особенному героизму, а к тому, что есть такое понятие – **мужество**, которое очень высоко и прекрасно; поэтому мальчиком я себя воспитывал очень много в дисциплине. Когда я начал уже больше сознавать, когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, я в себе воспитывал физическую выдержку. Отец, например, считал, позором, если ты возьмешь горячую кастрюлю и ее выпустишь из рук: держи! А если обожжешь пальцы – потом посмотрим. Это также относилось к утомлению, к боли, к холоду и так далее. Я себя **очень** воспитывал в этом отношении, потому что мне казалось, что это – да! Это **мужественное** свойство. Когда мне было лет пятнадцать-шестнадцать, я годами спал при открытом окне без одеяла, и когда было холодно, я вставал, делал гимнастику, ложился обратно – ну, всё это впрок, как будто, пошло.

Затем школьные годы пошли дальше, три года в той же школе. Почему? Она была самая дешевая, во-первых, затем, единственная по тому времени вокруг Парижа и в самом Париже, где мне можно было быть живущим. Потом меня перевели в другую – там был просто рай земной, божьи коровки, после того, что я видел в первой школе; самые яркие были просто, как картинки.

Школьную дисциплину вы принимали?

Я был слишком ленив для того, чтобы быть шаловливым мальчиком; у меня было чувство, что шалости просто того не стоят. Меня школа не интересовала, меня интересовали только русские организации; и кроме того, я обнаружил очень важную вещь: если ты учишься плохо, ты два года сидишь в одном классе, и так как я хотел избавиться от школы поскорее, то я всегда учился так, чтобы не засидеться; это было моим основным двигателем. А некоторые предметы я любил и ими занимался; то есть “некоторые”, множественное число – почти преувеличение, потому что я увлекался латынью. Меня всегда интересовали и увлекали языки, латынь мне страшно нравилась, потому что одновременно с латынью я увлекся архитектурой, а латынь и архитектура одного свойства: это язык, который весь строится по определенным правилам, именно как строишь здание – и грамматика, и синтаксис, и положение слов, и соотношение слов, – и этим меня латынь пленила. Немецкий я любил, немецкую поэзию, которую я и до сих пор люблю. Про архитектуру, когда мне было лет десять, я очень много читал, а потом успокоился, увлекся другим – воинским строем, тем, что называлось **родиноведение**, то есть всем, что относилось к России, – историей, географией, языком опять-таки; и жизнью ради нее. Я учился во французской школе, и там идеологической подкладки никакой не было: просто приходили, учились и уходили, или жили в интернате, но всё равно ничего не было за этим.

Товарищи были по школе или по организации?

Нет. Были товарищи в организации, то есть люди, мальчики, которых я любил больше или меньше, но я никогда ни к кому не ходил и никогда никого не приглашал.

Принцип?

Просто желания не было; я любил сидеть дома у себя в комнате один. Я повесил у себя на стене цитату из Вовенарга⁴: “Тот, кто ко мне придет, окажет мне честь; кто не придет, доставит мне удовольствие”; и единственный раз, когда я пригласил мальчика в гости, он посмотрел на цитату и ушел. Общительным я никогда не был; я любил читать, любил жить со своими мыслями и любил русские организации. Я их рассматривал как место, где из нас куют что-то, и мне было

⁴ Французский моралист XVIII века.

всё равно, **кто** со мной, если он разделяет эти мысли; нравится он мне или не нравится – мне было совершенно всё равно, **лишь бы** он был готов головой стоять за эти вещи.

Я уже не был живущим в школе, у меня было немножко больше времени, и я попал в первую свою русскую организацию, скаутскую, вроде пионеров, которая отличалась от других тем, что, кроме обычных летних лагерных занятий, таких, как палатки, костры, готовка на улице, лесные походы и так далее, нам прививалась русская культура и русское сознание; лет с десяти-одиннадцати нас учили воинскому строю, и всё это с тем, чтобы когда-нибудь вернуться в Россию и отдать России обратно всё, что мы смогли собрать на Западе, чтобы мы могли быть действительно и физически и умственно готовы к этому... Так нас учили в течение целого ряда лет; летние лагеря длились месяц-полтора, строгие, суровые лагеря; обыкновенно часа три в день воинского строя, гимнастика, спорт, были занятия по русским предметам; спали на голой земле, ели очень мало, потому что тогда очень трудно было вообще найти каких-нибудь денег, но жили очень счастливо. Возвращались домой худющие; сколько бы ни купались – в речке, в море – возвращались грязные до неопишваемости, потому что, конечно, больше плавали, чем отмывались. И вот так из года в год строилась большая община молодежи. Последний раз, когда я уже был не мальчиком, а взрослым и заведовал таким летним лагерем, то в разных лагерях на юге Франции нас было более тысячи молодых людей и девушек, девочек и мальчиков.

В 1927 году (просто потому, что та группа, в которой я участвовал, разошлась, распалась) я попал в другую организацию, которая называлась “Витязи” и которая была организована Русским Студенческим Христианским Движением, где я пустил корни и где остался; я, в общем, никогда не уходил оттуда – до сих пор. Там всё было так же, но были две вещи: культурный уровень был гораздо выше, от нас ожидали гораздо большего в области чтения и в области знания России; а другая черта была – религиозность, при организации был священник и в лагерях была церковь. И в этой организации я сделал ряд открытий. Во-первых, из области культуры; похоже, все мои рассказы о культуре мне в стыд и осуждение, но ничего не поделаешь. Помню, однажды у нас в кружке мне дали первое задание – думаю, мне было лет четырнадцать – прочесть реферат на тему “отцы и дети”. Моя культурность тогда не доходила до того, чтобы знать, что Тургенев написал книгу под этим названием. И поэтому я сидел и корпел и думал, **что** можно сказать на эту тему. Неделю я просидел, продумал и, конечно, ничего не надумал. Помню, пришел на собрание кружка, забрался в угол в надежде, что забудут, может быть, пронесет. Меня, конечно, вызвали, посадили на табуретку и сказали: ну?.. Я посидел, помялся и сказал: я всю неделю думал над заданной мне темой... И замолчал. Потом в последующем глубоком молчании, прибавил: но я ничего не придумал... Этим кончилась первая лекция, которую я в жизни читал.

А затем, что касается Церкви, то я был очень антицерковно настроен из-за того, что я видел в жизни моих товарищей католиков или протестантов, так что Бога для меня не существовало, а Церковь была чисто отрицательным явлением. Основной мой опыт в этом отношении был, может быть, такой. Когда мы оказались в эмиграции в 1923 году, Католическая Церковь предложила стипендии для русских мальчиков и девочек в школы. Помню, мама меня повела на “смотрины”, со мной поговорил кто-то и с мамой тоже, и всё было устроено, и мы думали, что дело уже в шляпе. И мы уже собрались уходить, когда тот, кто вел с нами разговор, нас на минутку задержал и сказал: **конечно**, это предполагает, что мальчик станет католиком. И я помню, как я встал и сказал маме: уйдем, я не хочу, чтобы ты меня продавала. И после этого я кончил с Церковью, потому что у меня родилось чувство, что если **это** Церковь, тогда, право, совершенно нечего туда ходить и вообще этим интересоваться; просто **ничего** для меня в этом не было... Должен сказать, что я был не единственным; летом, когда бывали лагеря, в субботу была всенощная, литургия в воскресенье, и мы **систематически** не вставали к литургии, но отворачивали борта палатки, чтобы начальство видело, что мы лежим в постели и **никуда не идем**. Так что, видите, фон для религиозности у меня был весьма сомнительный. Кроме того, были сделаны некоторые попытки моего развития в этом смысле: меня раз в год, в Великую пятницу, водили в церковь, и я сделал с первого раза замечательное открытие, которое мне пригодилось навсегда (то есть на тот период): я обнаружил, что если войду в церковь шага на три, глубоко потяну носом и вдохну ладана, я

мгновенно падаю в обморок. И поэтому дальше третьего шага я **никогда** в церковь не заходил. Падал в обморок – и меня уводили домой, и на этом кончалась моя ежегодная религиозная пытка.

И вот в этой организации я обнаружил одну сначала очень меня озадачившую вещь. В 1927 году в детском лагере был священник, который нам казался древностью – ему было, наверное, лет тридцать, но у него была большая борода, длинные волосы, резкие черты лица и одно свойство, которое никто из нас себе не мог объяснить: это то, что у него хватало любви на всех. Он не любил нас в ответ на предложенную ему любовь, ласку, он не любил нас в награду за то, что мы были “хорошие” или послушные, или там что-нибудь в этом роде. У него просто была через край сердца изливающаяся любовь. **Каждый** мог получить ее всю, не то, чтобы какую-то долю или капельку, и никогда она не отнималась. Единственное, что случалось: эта любовь к какому-нибудь мальчику или девочке была для него радостью **или** большим горем. Но это были как бы две стороны той же самой любви; никогда она не уменьшалась, никогда не колебалась. И действительно, если прочесть у апостола Павла о любви, о том, что любовь **всему** верит, **на всё** надеется, **никогда** не перестает и т.д., это всё можно было в нем обнаружить, и **этого** я тогда не мог понять. Я знал, что моя мать меня любит, что отец любит, что бабушка любит, это был весь круг моей жизни из области ласковых отношений. Но **почему** человек, который для меня чужой, может меня любить и мог любить других, которые ему тоже были чужими, было мне совершенно невдомек. Только потом, уже много лет спустя, я понял, откуда это шло. Но тогда это был вопросительный знак, который встал в моем сознании, неразрешимый вопрос.

Я тогда остался в этой организации, жизнь шла нормально, я развивался в русском порядке очень сознательно и очень пламенно и убежденно; дома мы говорили всегда по-русски, стихия наша была русская, всё свободное время я проводил в нашей организации. Французов мы не специально любили (моя мать говорила: как хороша была бы Франция, если бы не было французов), называли их туземцами – без злобы, а просто так, просто мы шли мимо; они были обстановкой жизни, так же как деревья, или кошки, или что другое. С французами или с французскими семьями мы сталкивались на работе или в школе и не иначе, и это не заходило никуда дальше. Какая-то доля западной культуры прививалась, но чувством мы не примыкали.

Еще из воспоминаний об отношениях с французами, это когда мы уже жили на Сен-Луи-ан-л’Иль; мама получила работу литературного секретаря у издателя, и ее хозяин сказал ей однажды, когда она не смогла прийти на работу: знайте, мадам, что одна только смерть, **ваша** смерть, может быть оправданием, что вы не пришли на работу...

Когда мне было лет четырнадцать, у нас впервые оказалось помещение (в Буа-Коломб), где мы могли жить все втроем: бабушка, мама и я; отец жил на отлете – я вам скажу об этом через минуту, – а до того мы жили, как я рассказывал, кто где и кто как. И в первый раз в жизни с тех пор, как кончилось ранее детство, когда мы ехали из Персии, я вдруг пережил какую-то возможность счастья; до сих пор, когда я вижу сны блаженного счастья, они происходят в этой квартире. В течение двух-трех месяцев это было просто безоблачное блаженство. И вдруг случилась совершенно для меня неожиданная вещь: я испугался счастья. Вдруг мне представилось, что счастье страшнее того очень тяжелого, что было раньше, потому что когда жизнь была сплошной борьбой, самозащитой или попыткой уцелеть, в жизни была цель: надо было уцелеть **вот сейчас**, надо было обеспечить возможность уцелеть немножко позже, надо было знать, где переночуешь, надо было знать, **как** достать что-нибудь, что можно съесть, – вот в таком порядке. А когда вдруг оказалось, что всей этой ежеминутной борьбы нет, получилось, что жизнь совершенно опустела, потому что можно ли строить всю жизнь на том, что бабушка, мама и я друг друга любим – но бесцельно? Что нет никакой глубины в этом, что нет никакой вечности, никакого будущего, что вся жизнь в плену двух измерений: времени и пространства, – а **глубины** в ней нет; может быть, какая-то толщина есть, она может какие-то сантиметры собой представлять, но ничего другого, дно сразу. И представилось, что если жизнь **так** бессмысленна, как мне вдруг показалось, – **бессмысленное** счастье, – то я не согласен жить. И я себе дал зарок, что, если в течение года не найду смысла жизни, я покончу жизнь самоубийством, потому что я **не согласен** жить для бессмысленного, бесцельного счастья.

Мой отец жил в стороне от нас; он занял своеобразную позицию: когда мы оказались в эмиграции, он решил, что его сословие, его социальная группа несет тяжелую ответственность за всё, что случилось в России, и что он не имеет права пользоваться преимуществами, которые дало ему его воспитание, образование, его сословие. И поэтому он не стал искать никакой работы, где мог бы использовать знание восточных языков, свое университетское образование, западные языки, и стал чернорабочим. И в течение довольно короткого времени он подорвал свои силы, затем работал в конторе и умер пятидесяти трех лет (2 мая 1937 года). Но он мне несколько вещей привил. Он человек был очень мужественный, твердый, бесстрашный перед жизнью; помню, как-то я вернулся с летнего отдыха, и он меня встретил и сказал: “Я о тебе беспокоился этим летом “. Я полушутливо ему ответил: “Ты что, боялся, как бы я не сломал ногу или не разбился?” Он ответил: “Нет. Это было бы всё равно. Я боялся, как бы ты не потерял честь”. И потом прибавил: “Ты запомни: **жив** ты или **мертв** – это должно быть **совершенно** безразлично тебе, как это должно быть безразлично и другим; единственное, что имеет значение, это **ради чего** ты живешь и **для чего** ты готов умереть”. И о смерти он мне раз сказал вещь, которая мне осталась и потом отразилась очень сильно, когда он сам умер; он как-то сказал: “Смерть надо ждать так, как юноша ждет прихода своей невесты”. И он жил один, в **крайнем** убожестве; молился, молчал, читал аскетическую литературу и жил действительно совершенно один, беспощадно один, я должен сказать. У него была малюсенькая комнатка наверху высокого дома, и на двери у него была записка: “Не трудитесь стучать: я дома, но не открою”. Помню, как-то я к нему пришел, стучал: папа! это я!.. Нет, не открыл. Потому что он встречался с людьми только в воскресные дни, а всю неделю шел с работы домой, запирался, постился, молился, читал.

И вот, когда я решил кончать самоубийством, за мной было: эти какие-нибудь две фразы моего отца, что-то, что я улавливал в нем, странное переживание этого священника (непонятная по своему качеству и типу любовь) – и всё, и ничего другого. И случилось так, что Великим постом какого-то года, кажется, тридцатого, нас, мальчиков, стали водить наши руководители на волейбольное поле. Раз мы собрались, и оказалось, что пригласили священника провести духовную беседу с нами, дикарями. Ну, конечно, все от этого отлынивали как могли, кто успел сбежать, сбежал; у кого хватило мужества воспротивиться вконец, воспротивился; но меня руководитель уломал. Он меня не уговаривал, что надо пойти, потому что это будет полезно для моей души или что-нибудь такое, потому что, сошлись он на душу или на Бога, я не поверил бы ему. Но он сказал: “Послушай, мы пригласили отца Сергия Булгакова; ты можешь себе представить, **что** он разнесет по городу о нас, если **никто** не придет на беседу?” Я подумал: да, лояльность к моей группе требует этого. А еще он прибавил замечательную фразу: “Я же тебя не прошу слушать! Ты сиди и думай свою думу, только будь там”. Я подумал, что, пожалуй, и можно, и отправился. И всё было действительно хорошо; только, к сожалению, отец Сергей Булгаков говорил слишком громко и мне мешал думать свои думы; и я начал прислушиваться, и то, что он говорил, привело меня в такое состояние ярости, что я уже не мог оторваться от его слов; помню, он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве. Он был замечательный богослов и он был замечательный человек для взрослых, но у него не было **никакого** опыта с детьми, и он говорил, как говорят с маленькими зверятами, доводя до нашего сознания всё сладкое, что можно найти в Евангелии, от чего **как раз** мы шарахнулись бы, и я шарахнулся: кротость, смирение, тихость – все рабские свойства, в которых нас упрекают, начиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое состояние, что я решил не возвращаться на волейбольное поле, несмотря на то, что это была страсть моей жизни, а ехать домой, попробовать обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, **проверить и покончить** с этим; мне даже на ум не приходило, что я не покончу с этим, потому что было совершенно очевидно, что он **знает** свое дело, и, значит, это так...

И вот я у мамы попросил Евангелие, которое у нее оказалось, заперся в своем углу, посмотрел на книжку и обнаружил, что Евангелий четыре, а раз четыре, то одно из них, конечно, должно быть короче других. И так как я ничего хорошего не ожидал ни от одного из четырех, я решил прочесть самое короткое. И тут я попался; я много раз после этого обнаруживал, до чего Бог хитер бывает, когда Он располагает Свои сети, чтобы поймать рыбу; потому что почти я

другое Евангелие, у меня были бы трудности; за каждым Евангелием есть какая-то культурная база; Марк же писал **именно** для таких молодых дикарей, как я, – для римского молодняка. Этому я не знал – но Бог знал. И Марк знал, может быть, когда написал короче других...

И вот я сел читать; и тут вы, может быть, поверите мне на слово, потому что этого не докажешь. Со мной случилось то, что бывает иногда на улице, знаете, когда идешь – и вдруг повернешься, потому что чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит сзади. Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей глав Евангелия от Марка, которое я читал медленно, потому что язык был непривычный, вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос... И это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я долго смотрел; я ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где **никого** не было, у меня было то же самое яркое сознание, что **тут стоит Христос, несомненно**. Помню, что я тогда откинулся и подумал: **если** Христос живой стоит тут – значит, это **воскресший** Христос. Значит, я **знаю** достоверно и лично, в пределах моего личного, собственного опыта, что Христос воскрес и, значит, всё, что о Нем говорят, – правда. Это того же рода логика, как у ранних христиан, которые обнаруживали Христа и приобретали веру не через рассказ о том, что было от начала, а через встречу с Христом живым, **из чего** следовало, что распятый Христос был тем, что говорится о Нем, и что весь предшествующий рассказ тоже имеет смысл.

Ну, дальше я читал; но это уже было нечто совсем другое. Первые мои открытия в этой области я сейчас очень ярко помню; я, вероятно, выразил бы это иначе, когда был мальчиком лет пятнадцати, но первое было: что если **это** правда, значит, всё Евангелие – правда, значит, в жизни есть смысл, значит, **можно** жить ни для чего иного как для того, чтобы поделиться с другими тем чудом, которое я обнаружил; что есть, наверное, тысячи людей, которые об этом не знают, и что надо им скорее сказать. Второе – что если это правда, то всё, что я думал о людях, была неправда; что Бог сотворил всех; что Он возлюбил всех до смерти включительно; и что поэтому даже если **они** думают, что они мне враги, то я знаю, что они мне не враги. Помню, на следующее утро я вышел и шел как в преображенном мире; на всякого человека, который мне попадался, я смотрел и думал: тебя Бог создал по любви! Он тебя **любит!** ты мне брат, ты мне сестра; ты меня можешь уничтожить, потому что ты этого не понимаешь, но я это знаю, и этого довольно... Это было самое разительное открытие.

Дальше, когда продолжал читать, меня поразило **уважение** и бережное отношение Бога к человеку; если люди готовы друг друга затоптать в грязь, то Бог этого **никогда** не делает. В рассказе, например, о блудном сыне: блудный сын признаёт, что он согрешил перед небом, перед отцом, что он недостойн быть его сыном; он даже готов сказать: прими меня хоть наемником... Но если вы заметили, в Евангелии отец не дает ему сказать этой последней фразы, от ему дает договорить до “я недостойн называться твоим сыном” и тут его перебивает, возвращая обратно в семью: принесите обувь, принесите кольцо, принесите одежду... Потому что недостойным сыном ты можешь быть, достойным слугой или рабом – никак; сыновство не снимается. Это третье.

А последнее, что меня тогда поразило, что я выразил бы тогда **совершенно** иначе, вероятно, это то, что Бог – и такова природа любви –**так** нас умеет любить, что готов с нами разделить всё без остатка: не только тварность через Воплощение, не только ограничение всей жизни через последствия греха, не только физические страдания и смерть, но и **самое** ужасное, что есть, – **условие** смертности, условие ада: боголишенность, потерю Бога, от которой человек умирает. Этот крик Христов на кресте: *Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил?* – эта приобщенность не только богооставленности, а боголишенности, которая убивает человека, эта готовность Бога разделить нашу обезбоженность, как бы с нами пойти во ад, потому что сошествие Христово во ад – это **именно** сошествие в древний ветхозаветный шеол, то есть то место, где Бога **нет**... Меня так поразило, что, значит, нет границы Божией готовности разделить человеческую судьбу, чтобы взыскать человека. И это совпало – когда очень быстро после этого я уже вошел в Церковь – с опытом целого поколения людей, которые до революции знали Бога великих соборов, торжественных богослужений; которые потеряли всё – и Родину, и родных, и, часто, уважение к себе, какое-то положение в жизни, дававшее им право жить; которые были

ранены очень глубоко и поэтому так уязвимы, – они вдруг обнаружили, что по любви к человеку Бог захотел стать именно таковым: беззащитным, до конца уязвимым, бессильным, безвластным, презренным для тех людей, которые верят только в победу силы. И тогда мне приоткрылась одна сторона жизни, которая для меня очень много значит. Это то, что нашего Бога, христианского Бога, можно не только любить, но можно уважать; не только поклоняться Ему, потому что Он – Бог, а поклоняться Ему по чувству глубокого уважения, другого слова я не найду.

Ну, на этом кончился, в общем, целый период. Я старался осуществить свою вновь обретенную веру различным образом; первым делом я был так охвачен восторгом и благодарностью за то, что со мной случилось, что прохождению никому не давал; я был школьником, ехал на поезде в школу и просто в поезде к людям обращался, ко взрослым: вы читали Евангелие? вы знаете, что там есть?.. Я уж не говорю о товарищах в школе, которые претерпели от меня многое.

Второе – я начал молиться; меня никто не учил, и я занялся экспериментами, я просто становился на колени и молился, как умел. Потом мне попался учебный часослов, я начал учиться читать по-славянски и вычитывал службу – это занимало около восьми часов в день, я бы сказал; но я недолго это делал, потому что жизнь не дала. К тому времени я уже поступил в университет, и было невозможно учиться полным ходом в университете – и это. Но тогда я службы заучивал наизусть, а так как я ходил в университет и в больницу на практику пешком, то успевал вычитывать утреню по дороге туда, вычитывать часы на обратном пути; причем я не стремился вычитывать, просто это было для меня высшим наслаждением, и я это читал. Потом отец Михаил Бельский дал мне ключ от нашей церковки на улице Монтань-Сент-Женевьев, так что я мог заходить туда на пути или возвращаясь домой, но это было сложно. И по вечерам я молился долго – ну, просто потому, что я очень медлительный, у меня техника молитвы была очень медлительная. Я вычитывал вечернее правило, можно сказать, три раза: прочитывал каждую фразу, молчал, прочитывал второй раз с земным поклоном, молчал и вычитывал для окончательного восприятия – и так всё правило... Всё это, вместе взятое, занимало около двух часов с половиной, что было не всегда легко и удобно, но очень питательно и наслаждительно, потому что тогда доходит, когда ты всем телом должен отозваться: **Господи, помилуй!** - скажешь с ясным сознанием, потом скажешь с земным поклоном, потом встанешь и скажешь уже чтобы запечатлеть, и так одну вещь за другой. Из этого у меня выросло чувство, что это – жизнь; пока я молюсь – я живу; вне этого есть какой-то изъян, чего-то не хватает. И жития святых читал по Четьям-Минеям просто страницу за страницей, пока не прочитал всё, жития пустынных. В первые годы я **очень** был увлечен житиями и высказываниями отцов пустыни, которые для меня и сейчас гораздо больше значат, чем многие богословские отцы.

Когда я кончал среднюю школу, то думал – **что** делать? Собрался пустынником стать – оказалось, что пустынь-то очень мало осталось и что с таким паспортом, как у меня, ни в какую пустыню не пустят, и кроме того, у меня были мать и бабушка, которых надо было как-то содержать, и из пустыни это неудобно. Потом хотел священником стать; позже решил идти в монастырь на Валаам; а кончилось тем, что всё это более или менее сопрялось в одну мысль; не знаю, как она родилась, она, вероятно, складывалась из разных идей: что я могу принять тайный постриг, стать врачом, уехать в какой-нибудь край Франции, где есть русские, слишком бедные и малочисленные для того, чтобы иметь храм и священника, стать для них священником и сделать это возможным тем, что, с одной стороны, я буду врачом, то есть буду себя содержать, а может быть, и бедным помогать, и, с другой стороны, тем, что, будучи врачом, можно всю жизнь быть христианином, это легко в таком контексте: забота, милосердие... Это началось с того, что я пошел на естественный факультет (Сорбонны), потом на медицинский – был очень трудный период, когда надо было выбирать или книгу, или еду; и в этот год я дошел, в общем, до изрядного истощения; я мог пройти какие-нибудь пятьдесят шагов по улице (мне было тогда лет девятнадцать), затем садился на край тротуара, отсиживался, потом шел до следующего угла. Но, в общем, выжил...

Одновременно я нашел духовника; и действительно “нашел”, я его искал не больше, чем я искал Христа. Я пошел в единственную нашу на всю Европу патриаршую церковь – тогда, в 1931

году, нас было пятьдесят человек всего, – пришел к концу службы (долго искал церковь, она была в подвальном помещении), мне встретился монах, священник, и меня поразило в нем что-то. Знаете, есть присловье на Афоне, что нельзя бросить всё на свете, если не увидишь на лице хоть одного человека сияние вечной жизни... И вот он поднимался из церкви, и я **видел** сияние вечной жизни. И я к нему подошел и сказал: не знаю, кто вы, но вы согласны быть моим духовником?.. Я с ним связался до самой его смерти, и он действительно был **очень** большим человеком: это единственный человек, которого я встретил в жизни, в ком была такая мера свободы – не произвола, а именно той евангельской свободы, царственной свободы Евангелия. И он стал меня как-то обучать чему-то; решив идти в монашество, я стал готовиться к этому. Ну, молился, постился, делал все ошибки, какие только можно сделать в этом смысле.

А именно?

Постился до полусмерти, молился до того, что сводил всех с ума дома, и т.д. Обыкновенно так и бывает, что все в доме делается святыми, как только кто-нибудь захочет карабкаться на небо, потому что все должны терпеть, смиряться, всё выносить от “подвижника”. Помню, как-то я молился у себя в комнате в самом возвышенном духовном настроении, и бабушка отворила дверь и сказала: “Морковку чистить!” Я вскочил на ноги, сказал: “Бабушка, ты разве не видишь, что я молился?” Она ответила: “Я думала, что молиться – это значит быть в общении с Богом и учиться любить. Вот морковка и нож”.

Медицинский факультет я окончил к войне, в 1939 году. На усекновение Иоанна Крестителя я просил своего духовного отца принять мои монашеские обеты: постригать меня было некогда, потому что оставалось пять дней до ухода в армию. Я произнес монашеские обеты и отправился в армию, и там пять лет я учился чему-то; по-моему, отличная была школа.

Чему учился?

Послушанию, например. Я поставил вопрос отцу Афанасию: вот я сейчас иду в армию – как я буду осуществлять свое монашество и, в частности, послушание? Он мне ответил: очень просто; считай, что каждый, кто дает тебе приказ, говорит именем Божиим, и твори его не только внешне, но **всем** твоим нутром; считай, что каждый больно, который потребует помощи, позовет, – твой хозяин; служи ему, как купленный раб.

А затем – прямо святоотеческая жизнь была. Капрал приходит, говорит: нужны добровольцы копать траншею, ты доброволец... Вот первое: твоя воля полностью отсекается и целиком поглощается мудрой и святой волей капрала. Затем он дает тебе лопату, ведет в госпитальный двор, говорит: с севера на юг копать ров... А ты знаешь, что офицер говорил копать с востока на запад. Но тебе какое дело? Твое дело копать, и чувствуешь такую свободу, копаешь с наслаждением: во-первых, чувствуешь себя добродетельным, а потом – день холодный и ясный, и гораздо приятнее рыть окоп под открытым небом, чем мыть посуду на кухне. Копал три часа, и ров получился отличный. Приходит капрал, говорит: дурень, осёл и т.д., копать надо было с востока на запад... Я мог бы ему сказать, что он сам сначала ошибся, но какое мне дело до того, что он ошибался? Он велел мне засыпать ров, а засыпав, я стал бы, вероятно, копать заново, но к тому времени он нашел другого “добровольца”, который получил свою долю.

Меня очень поразило тогда то чувство внутренней свободы, которое дает абсурдное послушание, потому что если бы моя деятельность определялась точкой приложения и если бы это было делом осмысленного послушания, я бы сначала бился, чтобы доказать капралу, что надо копать в другом направлении, и кончилось бы всё карцером. Тут же, просто потому, что я был совершенно освобожден от чувства ответственности, вся жизнь была именно в том, что можно было **совершенно** свободно отзывать на всё и иметь внутреннюю свободу для всего, а остальное была воля Божия, проявленная через чью-то ошибку.

Другие открытия, к тому же периоду относящиеся. Как-то вечером в казарме я сидел и читал; рядом со мной был карандаш вот такого размера, с одной стороны подточенный, с другого конца подбеденный, и действительно соблазняться было нечем; и вдруг краем глаза я увидел этот карандаш, и мне что-то сказало: ты никогда больше за всю жизнь не сможешь сказать – это мой карандаш, ты отрекся от всего, чем ты имеешь право обладать... И (вам это, может быть, покажется совершенным бредом, но всякий соблазн, всякое такое притяжение есть своего рода

бред) я два или три часа боролся, чтобы сказать: да, этот карандаш **не мой** – и слава Богу!.. В течение нескольких часов я сидел перед этим огрызком карандаша с таким чувством, что я не знаю, **что бы дал**, чтобы иметь право сказать: это мой карандаш. Причем практически это был мой карандаш, я им пользовался, я его грыз. И он не был мой, так что тогда я почувствовал, что не иметь – это одно, а быть свободным от предмета – совершенно другое дело.

Еще одно наблюдение тех лет: что хвалят необязательно за дело и ругают тоже необязательно по существу. В начале войны я был в военном госпитале, и меня исключили из офицерского собрания. За что? За то, что мне досталась больничная палата, в которой печка не действовала, и санитары отказались ее чистить; я сбросил форму, вычистил печку и принес уголь. Мне за это товарищи устроили скандал, что я “унижаю офицерское достоинство”. Это пример ничем не величественный, нелепый; и конечно, я был прав, потому что гораздо важнее, чтобы печка грела больничную палату, чем все эти погонные вопросы. А в других случаях хвалили, может быть, а я знал, что хвалят совершенно напрасно. Помню – коль уж до исповеди дошло, – когда я еще был маленьким мальчуганом, меня пригласили в один дом, и нас несколько человек играло в мячик в столовой, и этим мячиком мы разбили какую-то вазу. После чего мы притихли, и нас, я помню, мамаша моего товарища хвалила за то, что мы были такие тихие, и что мы так прекрасно себя вели, и что я был таким примерным гостем. Я потом **драл** домой с таким чувством – как бы успеть сойти с лестницы раньше, чем она вазу обнаружит. Так что вот вам второй пример: **хвалили**, и **тихий** я был, предельно тихий, только, к сожалению, до этого успел вазу разбить.

На войне же была всё-таки какая-то доля опасности, и поэтому сознание, что ты действительно в руках Божиих, доходит иногда до очень большой меры. Попутно делаешь всякого рода открытия: о том, что ты не такой замечательный, что есть вещи гораздо важнее тебя; о том, что есть разные пласты в событиях. Есть, скажем, пласт, на котором ты живешь и тебе страшно, или какие-то еще чувства одолевают тебя, а есть помимо этого еще какие-то два пласта: выше, над тобой – воля Божия, Его видение истории, и ниже – как течет жизнь, не замечая событий, связанных с твоим существованием. Помню, как-то я лежал на животе под обстрелом, в траве, и сначала жался крепко к земле, потому что как-то неуютно было, а потом надоело жаться, и я стал смотреть: трава была зеленая, небо голубое, и два муравья ползли и тащили соломинку, и так было ясно, что вот я лежу и боюсь обстрела, а жизнь течет, трава зеленеет, муравьи ползают, судьба целого мира длится, продолжается, как будто человек тут ни при чем; и на самом деле он ни причем, кроме того, что портит всё.

Ну, и потом очень **простые** вещи, которые вдруг делаются очень важными. Знаете, когда дело доходит до жизни и смерти, некоторые вопросы совершенно снимаются, и под знаком жизни и смерти проявляется новая иерархия ценностей: ничтожные вещи приобретают какую-то значительность, потому что они **человечны**, а некоторые большие вещи делаются безразличными, потому что они **не** человечески. Скажем, я занимался хирургией, и, я помню, мне ясно было, что сделать сложную операцию – вопрос технический, а заняться больным – вопрос человеческий, и что **этот** момент самый важный и самый значительный, потому что сделать хорошую техническую работу может всякий хороший техник, но вот человеческий момент зависит от человека, а не от техники. Были, например, умирающие; госпиталь был на 850 кроватей, так что было довольно много тяжело раненых, мы очень близко к фронту стояли; и я тогда, как правило, проводил последние ночи с умирающими, в каком бы отделении они ни были. Другие хирурги узнали, что у меня такая странная мысль, и поэтому меня всегда предупреждали. В этот момент технически вы совершенно не нужны; ну, сидишь с человеком – молодой, двадцати с небольшим лет, он знает, что умирает, и **не с кем** поговорить. Причем не о жизни, не о смерти, ни о чем таком, а о его ферме, о его жатве, о корове – о всяких таких вещах. И этот момент делается таким значительным, потому что такая разруха, что **это** важно. И вот сидишь, потом человек заснет, а ты сидишь, и изредка он просто щупает: ты тут или не тут? Если ты тут, можно дальше спать, а можно и умереть спокойно.

Или мелкие вещи; помню одного солдата, немца, – попал в плен, был ранен в руку, и старший хирург говорит: убери его палец (он гноился). И, помню, немец сказал тогда: “Я часовщик”. Понимаете, часовщик, который потеряет указательный палец, это уже конченный часовщик. Я

тогда взял его в оборот, три недели работал над его пальцем, а мой начальник смеялся надо мной, говорил: “Что за дурь, ты в десять минут мог покончить со всем этим делом, а ты возишься три недели – **для чего?** Ведь война идет – а ты возишься с пальцем!” А я отвечал: да, **война** идет, и **потому** я вожусь с его пальцем, потому что это настолько значительно, война, самая война, что его палец играет колоссальную роль, потому что война кончится, и он вернется в свой город с пальцем или без пальца...

И вот этот контекст больших событий и очень мелких вещей и их соотношение сыграли для меня большую роль – может быть, это покажется странно или смешно, но вот что я нашел тогда в жизни, и свой масштаб в ней нашел тоже, потому что выдающимся хирургом я никогда не был и больших операций не делал, а вот это была жизнь, и именно глубокая жизнь взаимных отношений.

Потом кончилась война и началась оккупация, я был во французском Сопротивлении три года, потом снова в армии, а потом занимался медицинской практикой до 1948 года...

А что в Сопротивлении делали?

Ничего не делал интересного; это самая, можно сказать, позорная вещь в моей жизни, что я ни во время войны, ни во время Сопротивления **ничего никогда** не сделал специально интересного или специально героического. Когда меня демобилизовали, я решил вернуться в Париж и вернулся отчасти законно, а отчасти незаконно. Законно в том отношении, что я вернулся с бумагами, а незаконно потому, что я их сам написал. Было очень забавно. Мама и бабушка эвакуировались в область Лимож, и когда меня демобилизовали, я демобилизовался в лагерь РСХД в По – надо было **куда-то** ехать. Я попал туда и стал разыскивать маму и бабушку, я знал, что они где-то тут, до меня дошло письмо, которое они мне писали месяца за три до этого, оно путешествовало по всем армейским инстанциям. И я их обнаружил в маленькой деревне; мама была больна, бабушка была немолода, и я решил, что мы вернемся в Париж и посмотрим, что там можно делать. Первой моей мыслью было перебраться во France Libre⁵, но это оказалось невозможным, потому что к тому времени Пиренеи были блокированы. Может быть, кто-нибудь более предприимчивый и пробрался бы, но я не пробрался.

Мы доехали до какой-то деревни недалеко от демаркационной линии оккупированной зоны, и я пошел в мэрию. Тогда на мне была полная военная форма, кроме куртки, которую я купил, чтобы спрятать под ней как можно больше военного обмундирования, и я отправился к мэру объяснить, что мне нужен пропуск. Он мне говорит: “Вы знаете, это невозможно, боюсь, меня расстреляют за это”. Никому не разрешалось переходить демаркационную линию без немецкого пропуска. Я уговаривал его, уговаривал, наконец он мне сказал: “Знаете, что мы сделаем: я здесь, на столе, положу бумаги, которые надо заполнить; вот здесь лежит печать мэрии, вы возьмите, поставьте печать – и украдите бумаги. Если вас арестуют, я на вас же скажу, что вы их у меня украли”. А это всё, что мне было нужно, мне бумаги были нужны, а если словили бы, его и спрашивать не стали бы, всё равно посадили бы. Я заполнил эти бумаги, и мы проехали линию, это тоже было очень забавно. Мы ехали в разных вагонах – мама, бабушка и я – не из конспирации, а просто мест не было; и в моем купе было четыре французских старушки, которые **дрожали** со страху, потому что были уверены, что немцы их на кусочки разорвут, и **совершенно** пьяный французский солдат, который всё кричал, что вот появился немец, он его – бум-бум-бум! – сразу убьет... И старушки себе представляли: войдет немецкий контроль, солдат закричит, и нас всех за это расстреляют. Ну, я с некоторой опаской ехал, потому что, кроме этой куртки, на мне всё было военное, а военным не разрешалось въезжать – вернее, разрешалось, но их сразу отбирали в лагеря военнопленных. Я решил, что надо как-то так встать, чтобы контроль не видел меня ниже плеча; поэтому я своим спутникам предложил ввиду того, что я говорю по-немецки, чтобы они мне дали свои паспорта, и я буду разговаривать с контролем. И когда вошел немецкий офицер, я вскочил, встал к нему вплотную, почти прижался к нему так, чтобы он ничего не мог видеть, кроме моей куртки, дал ему бумаги, всё объяснил, он меня еще за это поблагодарил, спросил, почему я говорю по-немецки, – ну, культурный человек, учился в школе, из всех языков

⁵ “Свободная Франция”, патриотическое движение, примкнувшее к антифашистской коалиции; группировалось главным образом в Англии под руководством Ш. де Голля.

выбрал немецкий (что было правдой, а выбрал-то я его потому, что уже его знал и потому надеялся, что работать надо будет меньше, но это дело другое...). И так мы проехали.

А потом приехали в Париж и поселились, и у нас был знакомый старый французский врач, еще довоенного издательства, который уже был членом французского медицинского Сопротивления, и он меня завербовал. Заключалось это в том, что ты числился в Сопротивлении, и если кого-нибудь из Сопротивления ранили, или нужны были лекарства, или надо было кого-то посетить, то посылали к одному из этих врачей, а не просто к кому попало. Были ячейки, приготовленные на момент освобождения Парижа, куда каждый врач был заранее приписан, чтобы, когда будет восстание, каждый знал, куда ему идти. Но я в свою ячейку так и не попал, потому что за полтора-два года до восстания меня завербовало французское “пассивное Сопротивление”, и я занимался мелкой хирургией в подвальном помещении госпиталя Отель-Дьё, и поэтому, когда началось восстание, я пошел туда - там было гораздо больше работы, там я был нужнее. Кроме того, очень было важно, чтобы там были люди, которые могли законно требовать новых припасов лекарств и новых инструментов, чтобы их переправлять: к нам приходили из этих ячеек, а мы им передавали казенные инструменты, иначе им невозможно было бы получить их в таком количестве. Одно время французская полиция поручила мне заведовать машиной скорой помощи во время бомбежек, и это давало возможность перевозить куда надо нужных Сопротивлению людей.

А еще я работал в больнице Брока, и немцы решили, что отделение, где я работал, будет служить отделением экспертизы, и к нам посылали людей, которых они хотели отправлять на принудительные работы в Германию. А немцы страшно боялись заразных болезней, поэтому мы выработали целую систему, чтобы, когда делались рентгеновские снимки, на них отпечатывались бы какие-нибудь туберкулезные признаки. Это было очень просто: мы их просто рисовали. Все, кто там работал, работали вместе, иначе было невозможно, – сестра милосердия, другая сестра милосердия, один врач, я, мы ставили “больного”, осматривали его на рентгене, рисовали на стекле то, что нужно было, потом ставили пленку и снимали, и получалось, что у него есть всё что нужно. Но это, конечно, длилось не так долго, нельзя было без конца это делать, нужно было уходить.

Слишком много больных у вас оказывалось?

То есть **все**, все, никого не пропускали; если не туберкулез, то что-нибудь другое, но мы **никого** не пропустили за год с лишним.

За год с лишним одни калеки?!

Да, одни калеки. Ну, объясняли, что, знаете, такое время: недоедание, молодежь некрепкая... Потом немцы всё же начали недоумевать, и тогда я принялся за другое: в русской гимназии преподавать – от одних калек к другим!

Еще одно интересное открытие периода войны, оккупации. Одна из вещей, с которыми нам в жизни, и тем более в молитве, приходится бороться, это вопрос времени. Мы не умеем – а надо научиться – жить в мгновении, в котором ты находишься; ведь прошлого **больше** нет, будущего **еще** нет, и единственный момент, в котором ты можешь жить, это **теперь**; а ты не живешь, потому что застрял позади себя или уже забегаешь вперед себя. И дознался я до чего-то в этом отношении милостью Божией и немецкой полицией. Во время оккупации я раз спустился в метро, и меня сцапали, говорят: покажи бумаги!.. Я показал. Фамилия моя пишется через два “о”: Bloom. Полицейский смотрит, говорит: “Арестовываю! Вы – англичанин и шпион!” Я говорю: “Помилуйте, на чем вы основываетесь?” – “Через два ‘о’ фамилия пишется”. Я говорю: “В том-то и дело, – если бы я был англичанин-шпион, я как угодно назывался бы, только не английской фамилией”. – “А в таком случае, что вы такое?” – “Я русский”. (Это было время, когда советская армия постепенно занимала Германию). Он говорит: “Не может быть, неправда, у русских глаза такие и скулы такие”. – “Простите, вы русских путаете с китайцами”. “А, – говорит, – может быть. А всё-таки, что вы о войне думаете?” А поскольку я был офицером во французском Сопротивлении, ясно было, что всё равно не выпустят, и я решил хоть в свое удовольствие быть арестованным. Говорю: “Чудная война идет – мы же вас бьем!” – “Как, вы, значит, против немцев?..” – “Да”. – “Знаете, я тоже (это был французский полицейский на службе у немцев), убегайте поскорее...” Этим и закончилось, но за эти минуты случилось что-то очень интересное:

вдруг всё время, и прошлое, и будущее, собралось в одно это мгновение, в котором я живу, потому что подлинное прошлое, которое на самом деле было, больше не имело права существовать, меня за это прошлое стали бы расстреливать, а того прошлого, о котором я собирался им рассказывать во всех деталях, никогда не существовало. Будущего, оказывается, тоже нет, потому что будущее мы себе представляем, только поскольку можем думать о том, что через минуту будет. И, осмыслив всё это после, я обнаружил, что можно всё время жить **только** в настоящем... И молиться так – страшно легко. Сказать “Господи, помилуй” нетрудно, а сказать “Господи, помилуй” с оглядкой на то, что это только начало длиннющей молитвы или целой всенощной, пожалуй, гораздо труднее.

Ну, и тем временем было десять лет тайного монашества, и это было **блаженное** время, потому что, как Феофан Затворник говорит: Бог да душа – вот и весь монах... И действительно был Бог и была душа, или душонка, – что бы там ни было, но, во всяком случае, я был совершенно защищен от мнения людей. Как только вы надеваете какую-нибудь форму, будь то военная форма или ряса, люди ожидают от вас определенного поведения, и вы уде как-то приспосабливаетесь. И тут я был в военной форме, значит, от меня ожидали того, что военная форма предполагает, или во врачебном халате, и ожидали от меня того, что ждут от врача, и весь строй внутренней жизни оставался свободным, подчинялся лишь руководству моего духовника.

Вот тут я уловил разницу между свободой и безответственностью в свободе. Потому что его **действительной** заботой было: ты должен строить свою душу, остальное всё второстепенно. Я, например, одно время страшно увлекся мыслью сделать медицинскую карьеру и решил сдавать специальный экзамен, чтобы получить специальную степень. Я ему про это сказал. Он на меня посмотрел и ответил: знаешь, это же чистое тщеславие. Я говорю: ну, если хотите, я тогда не буду... – Нет, говорит, ты **пойди** на экзамен – и провались, чтобы все видели, что ты ни на что не годен. Вот такой совет: в чисто профессиональном смысле это нелепость, никуда не годится такое суждение. А я ему за это очень благодарен. Я действительно сидел на экзамене, получил ужасающую отметку, потому что написал Бог вещь что даже и о том, что знал; провалился, был внизу списка, который был в метр длиной; все говорили: ну знаешь, никогда не думали, что ты такая остолопина... – и чему-то научился, хотя это и провалило всё мое будущее в профессиональном плане. Но тому, чему он меня тогда научил, он бы меня не научил речами о смирении; потому что сдать блестяще экзамены, а потом смиренно говорить: да нет, Господь помог, – это слишком легко.

А еще до этого, когда я работал с молодежью и как будто у меня это получалось, отец Афанасий позвал меня, сказал: “Ты слишком преуспеваешь, слишком доволен собой, ты становишься звездой – брось все”. Я ему говорю: “Хорошо, что я должен сделать, надо ли объяснять причину? Глупо будет сказать: я хочу стать святым, поэтому больше не буду работать с молодежью”. Он мне ответил: “Да нет, собери других руководителей, скажи им: я слишком занят медициной, это меня увлекает больше, чем работа с молодежью, и я ухожу. Если они будут возмущаться, пожми плечами и скажи: знаете, я пробиваюсь в жизни по-своему, вы стройте свою жизнь по-вашему. Только чтобы никто не догадался, что у тебя самые благие побуждения”.

То же было и с постригом. Я говорил уже, что дал монашеский обет, но отец Афанасий все меня в мантию не постригал; я его все просил меня постричь, он говорит: “Нет! Ты не готов себя отдать до конца”. Я говорю: Готов! – “Нет, вот когда ты придешь ко мне и скажешь: я пришел, делай со мной что хочешь, и я готов вот сейчас **не** вернуться домой, и никогда не дать своим родным знать, что со мной случилось, и не заботиться об их судьбе, что с ними стало, – вот тогда мы с тобой поговорим. До тех пор, пока ты тревожишься о своей матери или о бабушке, тебе не пришло время пострига – ты Богу не доверился, на послушание не положился”. И с этим я бился очень долго, должен сказать. У меня не хватало ни веры, ни духа – ничего. Очень много времени потребовалось, чтобы научиться, что призыв Божий абсолютен, что Бог на сделки не идет, что каждый раз, как я обращаюсь к Богу с вопросом, Он отвечает: Я тебя **зову** – **твое** дело отозваться безоговорочно... И так я боролся то против воли Божией, то против своей злой воли, пока не понял очень ясно, что пора сделать выбор: или я должен сказать “да”, или перестать считать себя членом Церкви, перестать ходить в церковь, перестать причащаться, потому что никакого смысла

нет причаститься, а потом сказать Богу “нет”; и никакого смысла нет быть членом Тела Христова – и таким членом, который отказывается выполнить Его волю. И – это, должно быть, покажется вам ужасным – бился я так около полугода и в один прекрасный день дошел до того, что биться уже больше не мог. Помню, я вышел утром из дому, не зная, что это будет за день; я тогда преподавал в гимназии и во время какого-то урока вдруг понял, что выбор надо сделать сегодня, сейчас. И после последнего урока я пришел к отцу Афанасию и сказал: “Вот я пришел”. – “Монахом становиться?” – “Да”. И тут он стал задавать мне самые невозвышенные вопросы: “Ну хорошо, садись. Сандальи у тебя есть? – “Нет”. – “Пояс есть?” – “Нет.” – “Это есть?” – “Нет.” – “Ну хорошо, это мы добудем, я тебя постригу через неделю”. Потом помолчали, я говорю: “А теперь мне что делать?” Я ждал, что он мне скажет: вот будешь спать здесь на полу, а остальное тебя не касается... “Ну а теперь иди домой”. Я говорю: “В каком смысле, как так?” – “Да, ты отказался от дома, от родных, а теперь возвращайся туда по послушанию”. Это был очень трудный момент, я должен сказать, но отец Афанасий **ни на какой** компромисс бы не пошел.

Умер отец Афанасий через три месяца после моего пострига; я долго недоумевал, что мне делать, потому что после такого опыта нахождения духовника просто обойти всех возможных священников или представить себе духовником Стефана, Ивана, Михаила или Петра было слишком нелепо. Помню, как я сидел у себя, мне было двадцать семь -двадцать восемь лет, и я поставил себе вопрос: **что делать?** – и вдруг с совершенной ясностью у меня в душе прозвучало: “Зачем ты ищешь духовника? Я **жив...**” И на этом я кончил свои поиски.

И когда он уже умер, я стал священником, в 1949 году, по слову человека, которому очень верил. Он был французом, православным священником, до этого я видел его один раз, когда мне было лет семнадцать, в день, когда я окончил среднюю школу и сдал экзамен на аттестат зрелости. А тут я его встретил в Англии на православно-англиканском съезде, и он прямо ко мне пришел и сказал: “Вы нам здесь нужны, бросайте медицину, делайтесь священником и переходите в Англию”. Я ему тогда сказал: “Вы подумайте и скажите, это всерьез или нет. Потому что если всерьез – я по вашему слову поступлю”. И он мне сказал, что это всерьез, и я так и поступил и теперь ему всегда напоминаю, что он ответственен за всё то недоброе, что я делаю, и поэтому его дело – молиться. И он еще усугубил это дело тем, что после первой моей лекции на английском языке ко мне подошел и сказал: “Отец Антоний, я за всю жизнь ничего **такого** скучного не слышал”. Я ему говорю: “Что же делать, я английского не знаю, мне пришлось лекцию написать и читать как мог...” – “Так вот я вам запрещаю отныне писать или по запискам говорить”. Я возразил: “Это же будет комично!” И он ответил: “**Именно!** Во всяком случае, это не будет скучно, мы сможем смеяться на ваш счет”. И вот с тех пор я произношу лекции, говорю и проповедую БЕЗ ЗАПИСОК – опять-таки на его душу.

"Жизнь для меня – Христос..."⁶

Много лет тому назад Эдинбургский Богословский факультет выдавал диплом *honoris causa* одному из самых маститых архиереев Русской Церкви, митрополиту Евлогию Георгиевскому; и в ответной своей речи он сказал слова, которые мне хочется повторить сейчас от себя: “Вы даете мне докторскую степень *honoris causa*, я ее принимаю *amoris causa*” – и как честь, и как радость о той любви, которая соединяет всех членов Русской Церкви, которая делает едиными нас, находящихся за пределами Советского Союза, с родной Церковью на родной земле.

Я не скрою, что получение этой степени для меня – большая радость. Радость не о том, что я могу превозноситься над кем бы то ни было, потому что я слишком достоверно знаю, что я не школьный богослов, не получил должного богословского образования; но этот диплом будет свидетельствовать перед западными церквями о том, что мое слово – слово православное, не личное, а всецерковное.

⁶ Слово при получении диплома доктора богословия *honoris causa* Московской Духовной Академии 3 февраля 1983 г. Опубликовано: “Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата”. 1983. № 113; “Журнал Московской Патриархии”. 1993. № 6; Сб. “Любовь всепобеждающая” и в переводах на др. языки.

С десяток лет тому назад пресвитерианский Богословский факультет в Абердине присудил мне подобную степень "за проповедь слова Божия и за оживление духовной жизни в Великобритании". И меня радует, что теперь я могу сказать, что и Русская Церковь признает мое слово за слово правды и истины церковной. Я прошу вас передать мою глубокую благодарность и Святейшему Патриарху и членам Ученого совета, и всем тем, кому Бог положил на сердце меня окружить такой любовью и подарить мне такое доверие.

Еще с очень ранних лет, как только я, четырнадцатилетним мальчиком, прочел Евангелие, я почувствовал, что никакой иной задачи не может быть в жизни, кроме как поделиться с другими той преображающей жизнь радостью, которая открылась мне в познании Бога и Христа; и тогда, еще подростком, вовремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях я стал говорить о Христе, Каким Он мне открылся: как жизнь, как радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно обновляло **все**; и если не было бы недопустимым применять к себе слова Священного Писания, я мог бы сказать вместе с апостолом Павлом: *Горе мне, если я не благовестую...* Горе, потому что не делиться этим **чудом** было бы преступлением перед Богом, это чудо сотворившим, и перед людьми, которые по всему лицу земли сейчас жаждут, **жаждут** живого слова о Боге, о человеке, о жизни: не о той жизни, которой мы живем изо дня в день, порой такой тусклой, порой такой страшной, порой и такой ласковой, но земной, а слова о жизни преизбыточествующей, о жизни вечной, бьющей ключом в наших душах, в сердцах, озаряющей наши умы, делающей нас не только проповедниками, но и свидетелями Царства Божия, пришедшего в силе, проникающего в нашу душу, пронизывающего нашу жизнь.

Но и при этом кто из нас, пастырей или студентов, готовящихся стать священниками, может забыть слово Христа: *От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься?* Когда, по благословию митрополита Виленского и Литовского Елевферия, я впервые, еще мирянином, начал проповедовать, я поставил перед собой вопрос: **как** могу я говорить о том, чего я не совершил, о святости, которой не прикоснулся, в которую я только могу с благоговением, с трепетом и ужасом взглядеться – как могу я проповедовать то, чего я не совершаю жизнью?.. И потом, видя вокруг себя страшный голод духовный, душевный, умственный, я вспомнил слова Иоанна Лествичника о том, что есть люди, которые будут проповедовать слово Божие, хотя они недостойны собственной своей проповеди, но на Страшном суде их оправдают свидетельства тех, кто по их слову обновился, стал новой тварью и скажет: Господи, если бы он не проповедовал, я никогда не познал бы животворную Твою истину...

Вместе с этим, проповедуя, приходится стоять перед судом своей совести – обличающей, трезвой, строгой, неумолимой, и перед лицом Христа, всемилостивого Спаса, вручающего нам Свое Божественное слово, которое – увы, увы! – мы несем в глиняных сосудах, и ставить перед собой вопрос: что же значит быть христианином? Ответ на это, с одной стороны, очень прост: все Евангелие говорит о том, как надо жить, как надо мыслить и чувствовать, чтобы быть Христовыми; но то же Евангелие нам раскрывает, и Отцы Церкви говорят о том, что недостаточно творить заповеди, не становясь иным человеком, таким человеком, для которого заповедь является уже не Божиим приказом, а собственным порывом жизни: нам надо научиться **стать** тем, что раскрывает перед нами Евангелие.

И, однако, не на этом я хочу остановиться сегодня; каждый из нас должен вчитаться в Евангелие, найти в нем те заповеди, тот призыв Божий, ту **мольбу** Божию, обращенную к нам, на которую он способен отозваться **всей жизнью**, умом, сердцем, всей душой, всей крепостью, всей немощью своей, найти те слова, которые обращены не вообще ко всякому и каждому и всем, но ко мне лично, те слова, от которых горит сердце, светлеет ум, обновляется воля и сила Божия вливается в нас. И кроме этого нам надо взглядеться и в то новое измерение, которое Евангелие, наше общение со Христом, Его любовь к нам, наша ответная любовь к Нему должны создать: новое измерение о Боге, новое измерение о человеке, новое измерение о космосе и о всем мире, то есть взглядеться в жизнь и ее воспринять так, как ее видит Господь.

И я хотел бы взять примером апостола Павла. Вы все помните дерзновенные его слова: *Будьте мне последователи, якоже и аз Христу...* Долгое время я недоумевал, что бы это значило, как это он может говорить нам: Подражайте **мне**, будьте **мне** подобны, как я, будто, подобен

Христу... И вдруг мне стало ясно, что он не это говорит, а напоминает о том, что с ним произошло. Вы знаете его жизнь в иудействе, как он гнал Христа, как он гнал Его учеников, как всю силу могучей, пламенной своей души он вложил в то, чтобы уничтожить дело Того, Кого он считал лжепророком; и на пути в Дамаск он оказался лицом к лицу с Христом, Которого он знал только как распятого преступника и Который теперь ему открылся как воскресший его Спаситель, как Бог, пришедший в плоти во спасение мира. И тогда вся жизнь его переломилась, он не пошел, как он говорит, *к первейшим его апостолам*; то, что открылось ему непосредственно от Бога, эта новая жизнь вдохновила его делиться ею, и делиться дорогой для себя ценой. Вы помните, как в своих посланиях Павел описывает свой подвиг. Действительно, он мог сказать: *Я ношу на теле моем язвы Господа нашего Иисуса Христа, я восполняю в плоти своей недостающее страданиям Господним*. И в этом он исполнил нечто, чему мы должны уподобиться: уподобиться в его покаянном повороте, который из гонителя сделал его учеником и который позволил ему жизнью, не словом, последовать призыву Христа, обращенному к Иакову и Иоанну: *Готовы ли вы пить чашу, которую Я буду пить, готовы ли вы креститься крещением, которым Мне надлежит креститься?* – то есть погрузиться в тот ужас, который Мне предстоит, ужас Гефсиманского сада, Страстной седмицы, распятия, богооставленности, сошествия во ад... Вот к чему зовет Павел, когда говорит: *Будьте мне последователями, якоже и аз Христу*; научитесь от меня тому героическому перелому, тому вдохновенному перелому, который из вас делает новых людей, небожителей, посланных в мир, свидетелей Христа.

И Христос всех и каждого из нас зовет и говорит: *Последуй за Мной...* Когда Христос был на земле, этот призыв был прост – труден, о, как труден! (вспомните рассказ о богатом юноше) – но и так ясен: оставь все свои заботы, **оставь** все, чем ты занят, и иди за Мной по дорогам Святой земли... Но что это значит в нашей жизни? То же самое: оторвись, отвернись от всего, что тебя делает пленником тления, пленником земли, что тебе не дает быть свободным, и иди за Мной. Сначала в те глубины твоей собственной жизни, твоего духа, твоего сердца, твоего ума, где ты только и можешь встретить Спасителя Христа и Живого Бога, Царство Божие внутри себя, и затем, найдя это Царство, приобщившись его жизни, выходи на героический путь апостольства. И в конечном итоге, нося в себе, в плоти своей *мертвенность Господа нашего Иисуса Христа*, Его совершенную отчужденность от всего, что было и остается причиной греха, смерти, отпадения от Бога, отвращения от ближнего, вырастай в ту меру, в которой ты будешь иконой, образом, словом, присутствием Спасителя Христа.

И Павел в своем Послании к филиппийцам (1: 21) говорит: *Жизнь для меня - Христос...* И часто задумываешься, что бы это значило? Мы же знаем: когда мы кого-нибудь любим, или одержимы какой-нибудь страстью, или что-то нам так дорого, что мы все готовы отдать ради этого, это значит, что то или другое является нашей жизнью. Это может быть наука, это может быть богословие, это может быть семья, это может быть гордыня – что угодно, что нас держит в своей власти; вот с такой **непреодолимой** силой должны мы быть одержимы Христом. **Он** должен быть для нас, стать для нас, на всю жизнь и на каждое мгновение, сколько у нас хватит духа, и веры, и силы, всем содержанием, подобно тому, как возлюбленная делается содержанием жизни любящего, как мирской человек может всю свою жизнь, вплоть до смерти своей, отдать идее или труду, которым он посвятил жизнь. Все, что Христово, должно быть наше, все же, что как бы свидетельствует, что Он **напрасно** жил, напрасно умер, должно стать для нас не только чужим, но ужасающим, и тогда – да, жизнь наша будет Христос.

Но как это сделать? Неужели это возможно? Какие гигантские силы нужны, чтобы это осуществить?! И тут мы должны опять-таки вспомнить апостола Павла, рассказывающего нам, как он просил силы у Христа, и как Христос ему ответил: *Довлеет тебе благодать Моя; сила Моя в немощи совершается*. Человеческими усилиями христианское призвание нельзя осуществить; кто может своими силами стать живым членом, частицей тела Христова, как бы продолжением Его воплощенного присутствия на земле? Кто может своей силой так раскрыться, чтобы стать непорочным храмом Святого Духа? Кто может своей силой стать причастником Божественной природы, кто может своей силой стать сыном Божиим так, как Христос является Божиим Сыном? А вместе с этим Ириней Лионский нам говорит, что слава Божия, сияние Божие – это человек,

достигший своей полноты и совершенства, и что когда мы соединимся со Христом силой Святого Духа, то во Христе и в Духе мы делаемся вместе с Единородным Сыном Божиим – *сыном Божиим единородным*... Никакое человеческое изощрение, никакой подвиг не может совершить этого, но благодать может совершить **все**.

Сила Божия поистине в немощи совершается, но не в той немощи, которая постоянно нам мешает быть Христовыми: страх, лень, косность, греховность, притяжение ко всему земному, отвращение от всего небесного – но иная немощь: гибкость, прозрачность, такая немощь, в которую Господь может влить Свою силу, как парус может быть наполнен ветром и понести ладью, куда дух ее несет. Нам надо научиться той немощи, которая является совершенной гибкостью в руке Божией, совершенной прозрачностью, и тогда сила Божия поистине совершается, несмотря на нашу немощь, несмотря на то, что в каком-то ином плане мы, проповедники – грешники, и спасение нам нужно столько же, а может быть, и больше, как тем, кому мы проповедуем жизнь и спасение.

Но в цитате, с которой я начал, есть другое слово: *Жизнь для меня Христос, а смерть – приобретение*... И вот второй строгий, трезвый критерий каждому из нас: как мы относимся не к смерти вообще – это понятие богословское, а к собственной смерти? Когда я был подростком, мой отец мне сказал: Научись так жить, чтобы ожидать своей смерти, как юноша ожидает прихода своей возлюбленной, своей невесты... Так апостол Павел ожидал смерти, потому что, как он говорит, *пока мы во плоти, мы отделены от Христа*. Как бы ни был глубок наш молитвенный опыт, как бы ни был преображающ наш опыт таинств, мы все-таки разделены, между Ним и нами завеса, мы видим вещи как бы через тусклое стекло; и как хочется пробиться через это стекло, разорвать эту завесу, как разорвалась завеса ветхозаветного храма, и проникнуть за завесу, познать Бога *подобно тому, как мы Им познаны*, – и это тоже слово апостольское...

Если мы ставим перед собой вопрос, Христовы ли мы, этот вопрос ставится по отношению к нашей **жизни**: ради чего я готов **жить**, жить изо дня в день, из часа в час, и за что я готов жизнь свою положить? И полагая ее опять-таки изо дня в день, из часа в час, отрекаясь от себя, взяв крест и следуя Христу по **всему** Его пути, не только во славе, но и на крестном пути Его... Как относимся мы к смерти, к нашей, собственной? Жаждем ли мы этой встречи? Видим ли в смерти **только** конец нашей жизни, или же дверь, которая распахнется и допустит нас в полноту жизни? Павел говорил, что для него умереть – это не совлечься временной жизни, а *облечься в вечность*. **Такова** ли наша вера? Из **этой** ли веры мы проповедуем вечность?

Но Павел прибавляет и еще нечто, что я перескажу своими словами. После этих слов о смерти, он говорит: *И однако, для вас полезнее, чтобы я остался жить*... И он остается жить. Измерьте, что это значит: это значит, что вся жизнь для него – это крестный путь на земле; что для него смерть – это мгновение, когда откроется ему доступ в блаженное бытие воскресшего Христа; и что он готов и **от этого** отказаться, чтобы до других дошло живоносное, преображающее и спасающее слово Божие.

Вот третий критерий, который я хотел бы перед вами поставить, и который стоит передо мной все время и заставляет меня сказать: Господи, прости! Я еще не начал становиться христианином... Дай мне вырасти – конечно, не в меру Павла, но вырасти так, чтобы моя любовь был Ты, чтобы моя мечта была – встреча, соединение, но чтобы я на все был готов, дабы Тебе послужить в сердцах, в умах, в судьбах, в жизни других людей.

Христианство сегодня⁷

Считаете ли Вы, что влияние христианства в России возросло? Если да, то почему? Если можно говорить о возрождении христианства, то что именно возрождается: доктрина, культ с обрядностью, этическое учение Церкви или христианство как часть русской идентичности?

Мне трудно судить о том, насколько христианство сейчас влияет на судьбы России. Впечатление у меня такое, что интерес и отзывчивость к духовным ценностям возросли, что люди гораздо больше, чем в какой-либо минувший период, воспринимают законность этих ценностей, понимают, что можно быть культурным человеком и современным человеком, не отрицая духовную область, что не обязательно быть материалистом для того, чтобы быть человеком нашего времени. С другой стороны, люди еще не обнаружили того, что, если уж говорить о материализме, христианство – единственный совершенный материализм в том смысле, что материалист рассматривает материю как строительный материал, тогда как для нас, из-за воплощения Христа, в Котором *вся полнота Божества обитала телесно* (Кол. 2, 9), материя получила какое-то абсолютное значение, это святыня. И в этом смысле мы могли бы перебросить мост между христианским, православным мировоззрением и неверующими, показав им, что образ человека слишком мелкий в материализме и что самая материя ими унижена, что она имеет громадный потенциал, о котором они даже не подозревают: обожение, пронизывание – как в таинствах – Божественным реальным присутствием.

Я думаю, что причина, почему Россия открывается духовным ценностям, и в частности, христианству, в том, что за семьдесят лет люди изголодались. Нельзя жить только телесностью, материальной жизнью (причем, порой чрезвычайно трудной) и чисто умственными выкладками, – и опять-таки, очень ограниченными ввиду того, что они должны были совпадать с определенной идеологией и не могли переступить какой-то порог. И ещё (и это связано с вопросом, который Вы дальше ставите, когда спрашиваете, что именно возрождается): русское православие, русское христианство с самого начала было **благочестием**, то есть способностью поклоняться Богу, Который воспринят нутром. Богословие, доктрина принадлежали определенному кругу людей, но в целом русское православие – это православие молитвы, а также и богослужения, в которых сочетаются разные стихии. С одной стороны, очень большая красота; Платон говорил, что красота – это убедительная сила истины. Когда вы не можете о чем-нибудь сказать: “Как прекрасно!”, это значит, что до вас не дошло, это объективный факт вне вас. И поэтому красота, величие православного богослужения – это не просто “инсценировка”, это выражение народного духа в форме красоты вещей, воспринятых духовно нутром. С другой стороны, есть, конечно, опасность обрядоверия. Это риск большой, потому что очень легко считать обряд самодовлеющим или переживать обрядовую сторону богослужения и пройти мимо какой-то глубины содержания. Но тем не менее, мне кажется, что возрождение христианства в России связано главным образом с тем, что в России Бог, Христос, вся реальность христианства воспринималась как личный духовный опыт, которым люди делились, то есть который был и общий, и невыразимо-личный. И в этом, мне кажется, есть большая сила, потому что если бы христианство было только мировоззрением, оно не могло бы охватить любые слои народа, а только лишь привилегированный, интеллектуальный или эстетический класс; а здесь это глубокий личный опыт.

Но с этим связано и другое: еще Лесков говорил в XIX веке, что Русь была крещена, но никогда не была просвещена. То есть религиозного, духовного образования не было дано, и

⁷ Интервью было взято 11 июня 1990 г. и напечатано в журнале “Звезда” (1991, № 1). Журнал сопроводил публикацию следующими строками: “Нам известно, что в дни Поместного Собора, когда было записано это интервью, рабочий день митрополита Антония Сурожского начинался в предутренние часы, а заканчивался глубокой ночью. Редакция благодарит митрополита Антония за то, что он нашел возможным ответить на наши вопросы, пожертвовав частью и без того короткого сна. Благодарим также Д.А. Черняховского, взявшего это интервью”.

Поместный Собор в июне 1990 года избрал на Московский патриарший престол ныне здравствующего Патриарха Алексия II. Это был момент, когда казалось, что Русская Православная Церковь будет играть всё большую роль в дальнейшем общественном развитии нашей страны – тогда еще Советского Союза. Вопросы и ответы предвосхищают многие аспекты такого участия Церкви в жизни общества.

поэтому опыт, который внутри клубится невыразимо, никогда не был – для широкого народа, я не говорю: для богословов – оформлен так, чтобы он мог, с одной стороны, быть выражен, с другой стороны – быть защищен, и еще – обогащал бы человека в другой области, нежели просто сердце. Максим Исповедник говорил, что богослов тот, у кого сердце – как пламя, а ум – как лед, то есть, кто может холодно, строго думать, но – думать на основании пламенения. И вот это сейчас громадная проблема перед нами.

Когда Вы употребляете слово “доктрина” – если это понимать как учение о Боге, о Христе, о Церкви, о таинствах, о человеке, о материи, которое выражает собой с силой и глубиной внутренний опыт – да; если это умозрение некоторых богословов, которое, можно сказать, порой бывает похоже на высшую математику, недоступную никому, или на абстрактное искусство, о котором художник-абстракционист Ланской говорил: это язык, на котором только один человек может говорить и три или четыре человека понимать, – конечно, это не наша линия. Но нам надо все больше найти способы выразить **весь** внутренний опыт, личный и коллективный, в таких формах, которые его бы не унижали, которые были бы духовны. И это не просто доктринальное обучение.

Чем очень страдает, мне кажется, христианство везде, и в России тоже, это этическая сторона. Я говорю “везде и всегда”, потому что еще апостол Павел писал в одном из своих посланий: *Имя Божие хулится ради вас* (Рим. 2, 24). Если мы не живем в уровень того, что проповедуем, то мы просто отрицаем видимо, очевидно перед людьми правду, которую мы будто исповедуем. Я помню первого секретаря Всемирного Совета Церквей, который говорил, что можно быть еретиком жизнью, исповедуя всю истину на словах, потому что если твоя жизнь расходится с этой истиной, ты изменил своей вере. И вот это – проблема, которая, мне кажется, стоит сейчас очень остро. Какие-то основы веры надо проповедовать, какие-то истины веры должны быть объяснены и усвоены; но, с другой стороны, как говорили некоторые древние писатели, понимание Евангелия происходит через исполнение того, что оно говорит. Если мы только его читаем и восхищаемся его красотой, то мы до истины его не можем дойти; и вот это большая проблема для современности. Это должно бы быть проповедью каждого священника, каждого епископа: живи согласно твоей вере. Как говорил апостол Иаков: *Ты мне покажи свою веру без дел твоих, и я тебе покажу мою веру из дел моих* (2, 18). Если это не осуществится, если соединение духовного опыта и доступного, но чистого, истинного умственного выражения (выражения и этого опыта, и этого понимания в красоте) не будет осуществлено в жизни, то никто не сможет поверить христианству в конечном итоге.

А о христианстве как о части русской идентичности Вы, Владыко, ничего не хотите сказать?

Я просто пропустил. Я думаю, что отождествление христианства с русской идентичностью дает преувеличенное представление о русской идентичности; на самом деле христианство ее значительно превосходит. Русская идентичность была в очень значительной мере вдохновлена и оформлена христианством, но русское христианство не обязательно является полнотой христианства всего мира. Мы не можем говорить о том, что мы должны его привить всем странам на свете. И я думаю, что говорить о совпадении русскости и православия – это унижение Божественного, вечного, беспредельного. Еще Нестор говорил о том, что каждый народ должен внести свой голос, как бы музыкальную свою ноту в общий аккорд всего мира в явлении и прославлении Бога; и русский народ может внести свое уникальное, – но это не все: мы должны научиться от других народов тому, что они узнали благодаря тому, что они на нас не похожи. Поэтому говорить о том, что христианство было, есть и может стать в изумительной мере вдохновением, содержанием, формой русской души и жизни – это одно, но сводить христианство или православие к тому, что это – **одно из** выражений русской культуры или русской души или русской идентичности, было бы очень жалко.

Истины христианства неизменны, но в разных исторических ситуациях более важными становятся разные аспекты учения. Какова специфическая весть христианства для сегодняшней России?

Я совершенно согласен с этой постановкой вопроса. Если мы думаем о развитии богословской мысли в христианской Церкви, то мы видим, как оно проходило постепенно. Первое поколение знало Иисуса Христа лично. Сначала Его знали, вероятно, как юношу. Ведь Кана Галилейская и Назарет — на расстоянии нескольких километров: невозможно себе представить, что ребенок или подросток Иисус Христос жил в Назарете, и Его не знал бы Нафанаил, который жил в Кане. Поэтому сначала Его знали просто как живого человека и, вероятно, поражались какой-то неповторимостью Его человеческой личности; а затем постепенно раскрывались перед людьми новые и новые глубины до момента, когда они поняли, **кто** Он: Живой Бог, ставший живым человеком. Это был первичный опыт, абсолютным центром которого был живой Иисус Христос, им знакомый, известный. И когда Христос умер и воскрес, они ходили и говорили о Ком-то, Кого они лично знали. Зов апостольства был обращен к тем кто знал Христа с самого начала, они могли засвидетельствовать всё об этом. А потом стали развиваться. стали ставиться вопросы о том, Кто же Он. Да, Он — Бог, но Он о Себе говорит, что Он Сын Божий; Он говорит о Боге как о Своем Отце; — стали думать об этом Отцовстве. Сошествие Святого Духа было реальностью не богословской, а чисто эмпирической, жизненной. Апостолы стали местом вселения Святого Духа. Они о Нем могли говорить, как только можно говорить о силе, которая тобой движет конкретно и опытно. Поэтому Троическое богословие начало развиваться, делаться более и более четким. Были споры, что было в каком-то смысле очень хорошо. Апостол Павел говорит: у вас будут разделения, с тем, чтобы наиболее мудрые себя проявили (1 Кор. 11, 19). И православное вероучение постепенно, через искания, через полусвет и полутьму, через борьбу школ, мнений, личностей, выкристаллизовало нечто, что держит в некоем равновесии то, что **можно** выразить словом или литургическим действием, и то, чего **никак** не можешь выразить, потому что в конечном итоге, когда встречаешь Бога лицом к лицу, ты только молчать можешь. Английское, немецкое слова God, Gott — от древнего корня, который значит “тот, перед которым падаешь на колени”; вот это последний шаг.

Сейчас делается наиболее насущным то, что если история Ветхого и Нового Завета истинна, если действительно Бог стал человеком, мы можем говорить о человеке совершенно новым языком. Человек не является как бы наиболее замечательной обезьяной, которая научилась тому, чего другие обезьяны не умеют делать; человек — это существо, которое от начала несет в себе Божий образ, которое по своей глубине и широте может стать вместилищем Божества, причем вместилищем не так, как, скажем, чаша вмещает содержимое, а как, опять-таки Максим Исповедник говорил о воплощении, что соединение Божества и человечества во Христе подобно соединению огня и железа. Если меч вложить в жаровню — его вкладываешь бесцветным, серым, мертвым, а вынимаешь раскаленным. И огонь остался огнем, и железо осталось железом, но теперь можно резать огнем и жечь железом. Человек настолько глубок, велик и таинственен, что он может до конца соединиться с Богом, не переставая быть человеком. И этого ни один материалист не может сказать.

И еще другое. Когда мы говорим о воплощении, как я раньше сказал, воплощение значит, что Божество соединилось с **материей**: это говорит о том, что материя всей вселенной способна на воссоединение с Богом в том неопишемом чуде, которое апостол Павел называет “Бог все во всем” (1 Кор. 15, 28). И мне кажется, что теперь надо говорить гораздо больше, чем раньше, о величии человека, о том, что мы можем верить в человека, **верить** с такой же глубиной и уверенностью, как мы говорим “я верую в Бога”.

И еще можно сказать вещь — меня она очень вдохновляет: это то, что Бог не безумен. Если Он творит какие-то твари, то и не в погибель, и не для того, чтобы изуродовать тот мир, который Он создал. Значит, каждый раз, когда человек вступает в мир, это акт Божественной веры в него: **Бог в нас верит** — и индивидуально, и коллективно, во всё человечество и в каждого из нас. И это замечательная мысль: Бог в нас верит, Бог надеется на все от нас. И об этом мы должны говорить гораздо больше. Потому что мы говорим о Боге вне пропорций с человеком, как будто человек малюсенький, а Бог громадный. Это мы видим на иконах, и это единственный способ выразить величие Божие. Но как часто видишь: Христос восседает, а у Его ног двое каких-то святых, как маленькие мышата. Это не говорит о величии человеческом, а только о Божием величии. И нет у

нас иконы, которая показала бы величие человека – кроме иконы Христа: смотри – “Се Человек”, **это** человек: не ты, и не она, и не мы, а Он – Человек, единственный. Если ты хочешь быть человеком в полном смысле, вот этим ты должен быть. И вот это, мне кажется, проблема наших дней, потому что люди изверились в человеке. Человек слишком много показал темных своих сторон, и только христианин, я думаю, может верить в человека. Помню, один священник на Западе как-то написал, что когда Бог на нас смотрит, Он не видит ни наших добродетелей, ни наших успехов (которых может и не быть), но в глубине всякого человека Он видит сияющий Свой образ, который может вырасти и заполнить всё – преображением. Вот, мне кажется, о чем надо говорить – в той или другой форме: я **верую** в человека, **Бог** верит в человека.

Наверное, Владыко, это не менее важно и в других странах, или Вы считаете, что это специфически важно для сегодняшней России?

Это важно для всех стран сейчас, потому что мы потеряли сознание величия человека везде. Я говорю об этом на Западе и думаю, что здесь надо говорить об этом гораздо больше. Человек стал политическим зверем, или животным высшего качества; мир превращается в муравейник. Но настоящий муравейник строится очень талантливо, в общем; мы строим наш муравейник гораздо менее талантливо. И я думаю, что христиане должны сотрудничать со всеми другими людьми, доброй или недоброй воли, без разбора, в постройке града человеческого, но прибавляя к этому граду человеческому измерение глубины, широты и святости, чтобы он мог когда-нибудь оказаться градом Божиим, первым гражданином которого был бы Человек Иисус Христос. Это относится ко всему человечеству сейчас, во всяком случае, христианскому или псевдохристианскому.

А что именно для России специфически важно?

Для России, я думаю, сейчас важно возродить веру в человека не как раба или работодателя, не как, скажем, научного гения или участника муравейника, а как неповторимую личность.

Нет человека, без которого вселенная могла бы обойтись, каждый человек – словно камушек в колоссальной, дивной мозаике. Вы знаете, что бывает, если один камушек выпадает: постепенно мозаика начинает трескаться, и все камни выпадают. И поэтому каждый человек – единственный, неповторимый, не только в его знании Бога. Есть замечательное место в книге Откровения, где говорится, что в конце времен всякий человек получит имя, которое только **он** знает и Бог знает (2, 17), то есть имя, которое его выражает всецело и которое выражает то, что его соотношение с Богом неповторимо, что единственно он знает Бога так, как он Его знает. И нам надо постепенно внедрить в сознание людей абсолютную ценность **личности** – не индивида как фрагмента человечества, а именно личности, которая может творчески соотноситься с другими личностями, не теряя ничего и вместе с этим давая всё. Знаете: солнце сияет, от этого светом оно не беднеет, а другие в сиянии света начинают видеть всё по-иному.

Может ли безусловная преданность христианской истине совмещаться с принятием возникшего в Новое время мировоззренческого плюрализма, с серьезным отношением к чужим истинам?

Я думаю, что христианство должно себе отдавать отчет в том, что плюрализм, который сейчас существует и часто антагонистичен христианству, является результатом того, что христианство не дало мировоззрения, которое было бы откровением новой жизни и радости людям. Мы ответственны за то, что люди стали искать других мировоззрений, ибо то, что мы говорили о христианстве, их не могло удовлетворить. Это одно, первое; и в данной ситуации мы должны сознавать, что мы ответственны за все ереси, за все отклонения, за все несовершенства, мы ответственны за то, что люди обращаются и на Восток, и в самые дикие секты, и в политические и общественные мировоззрения – из-за того, что не находят полноты в том христианстве, которое мы проповедуем и которое мы проявили. С другой стороны, несомненно (то есть, для меня несомненно, конечно, это не обязательно для другого несомненно), если посмотреть на все христианское общество в его разделенности, что нет ни одной христианской группировки, которая (именно потому, что она отделилась от других по признаку какой-то интуиции о том, что то или другое – колоссально важно) не могла бы христианский мир в целом не приблизить к полноте, которая отчасти потеряна. Это относится и к Православию: у нас есть,

что давать, но у нас есть и чему учиться и в нравственности, и в делании, и в понимании того, что мы сами проповедуем. Так что я считаю, что плюрализм – это не оскорбление христианству, это множество голосов, которое ставит под вопрос не христианство, а христиан. Бердяев когда-то писал брошюру, которая называлась “О достоинстве христианства и недостоинстве христиан” – вот это-то и есть. Если бы христианство было христианством Евангелия, осуществленного, реального, то все бы говорили: Да, это полнота жизни, этим стоит жить... Но кто может сказать это о русском православии в России, о русском православии за границей или о других вероисповеданиях? Поэтому я думаю, что существование плюрализма ставит нас под вопрос, и мы должны всмотреться в себя каждый раз, когда мы встречаемся со взглядами, мнениями или реакциями со стороны людей, которые знают христианство, но его отвергают. Почему я не сумел это открыть? Почему я не могу им дать то, чего они ищут и что они находят только частично?.. Вот что мне кажется очень важным. И притом – диалог всегда был бы диалогом. В какие-то периоды истории торжество христианского мировоззрения достигалось мечем и огнем. Это не торжество, это просто последнее падение. Скажем, инквизиция как идея (я сейчас не делаю упрека никому в этом, то есть ни католикам, никому, просто инквизиция как подход), что надо человека сломать и заставить думать так или иначе, это грех, это просто преступление, потому что Бог хочет Себе свободно избравших Его друзей, а не рабов. “Я вас не называю больше рабами, потому что раб не знает воли господина своего, Я называю вас друзьями, потому что Я всё вам сказал”, – вот что говорит Христос (Ин. 15, 15). И нельзя ожидать, чтобы всякий человек без искания нашел бы окончательную форму истины, которая соответствует Божественной истине. А искание неизбежно бывает периодами неясно. Ставятся под вопрос вещи, которые в конечном итоге могут быть оправданы, но которые на пути искания должны быть аналитически рассмотрены, постольку, поскольку мы употребляем слова.

И еще одно я скажу. Паскаль молился Богу и говорил, кричал, что не может Его найти, и Бог ему сказал: “Ты бы Меня не искал, если бы ты Меня уже не нашел”. И это я перенес бы на все религии мира. Бога невозможно выдумать. Я не говорю об уродливых формах, которые потом можно придать этому первичному опыту; но когда человек говорит: “Я опытно знаю, что есть Божественная сила”, это значит, что он коснулся хоть края ризы Божественной. И поэтому мы должны относиться с глубокой вдумчивостью к тому, что люди опытно знают о Боге, даже если они выражают это совершенно неприемлемыми формами благочестия или мировоззренческими представлениями. И нам надо быть очень осторожными. Я знаю, у апостола Павла есть место, где говорится, что боги язычников – бесы (1 Кор. 10, 20) – постольку, поскольку они отрицали Христа. Слово “сатана”, как вы знаете, по-еврейски значит “противник”, это не “черти” в нашем понимании. Они противники – да, и те, кто держится этих мировоззрений, особенно если они придерживаются их изуверчески и яростно, ошибаются, но надо заботиться о том, как им открыть БОльшую истину.

Есть рассказ из жизни старца Силуана о том, как он разговаривал с одним из православных миссионеров на Востоке и его спрашивал: Ну как же у вас идет миссия? – Очень неуспешно. Китайцы такие тупые, такие невосприимчивые, ничего не воспринимают. – Силуан говорит: А как же вы с ними поступаете? – Ну, я иду в капище, им говорю: смотрите на свои идолы, сбросьте их, это камень, это дерево, это изуверство! – А что случается дальше? – Они меня из капища выкидывают и остаются при своем... – И тогда ему Силуан говорит: А знаете что: вы могли бы пойти туда, посмотреть, как они молятся, сколько у них благоговения и благочестия, и позвать нескольких из их священников и сказать: давайте сядем на ступеньки и поговорим; расскажите мне о своей вере... И каждый раз, когда они что-нибудь скажут близкое к христианству, вы могли бы им сказать: Как это прекрасно! Но у вас чего-то не хватает. Хотите, я вам скажу? – и прибавить ту солинку, которая может превратить приторность того, что вы слышали, во что-то “вкусное”, живое. Вот, если бы вы так делали, постепенно они усвоили бы очень многое из христианской веры; а когда вы им говорите, что всё, во что они верят, неправда, они не могут согласиться, потому что опытно знают, что многое – правда.

Я долго жил среди людей инакомыслящих, и в течение очень долгого периода у меня было такое радикальное отношение: только Православие – и всё. А постепенно, особенно на войне, я

посмотрел, как люди инакомыслящие себя ведут: христианин, может быть, ляжет за кустом, когда стреляют, а безбожник выйдет из укрытия и принесет обратно раненого. И тогда ставишь вопрос о том, кто из них подобен доброму самарянину и Христу Спасителю.

Знаете, меня поражает тоже притча о Страшном суде в этом контексте. Нам всегда говорят: вот, это Страшный суд: козлица туда, овцы сюда... – а какие вопросы ставит Христос? Он не спрашивает людей, веруют ли они в Бога, не спрашивает ничего о том, как они к Нему относятся, Он их спрашивает: Одед ли ты нагого? Накормил ли голодного? Посетил ли больного? Не постыдился ли признать, что тюремный заключенный – твой друг?” Он им ставит только об одном вопросе: “Ты был человеком – или ты и не человек? Если ты и не человек, то в Царство Божие тебе дороги нет, потому что обожиться может человек; если ты был человеком – вот тебе и путь-дорога.

Мне кажется, что мы так должны бы относиться ко **всем** людям, которые во что-то верят. Даже материалист верит в человека по-своему. У него образ человека с нашей точки зрения очень несовершенный, неполный, но он верит во что-то. И вот – слушай, во что он верит. Часто он верит в какую-то нравственную правду, цельность, которую мы нередко заменяем благочестием. Знаете, гораздо легче человеку, который говорит: “Я голоден”, ответить: “Иди с миром, я о тебе помолюсь”, чем разделить с ним то малое, что у тебя есть.

Что Вы можете сказать о терпимости Русской Православной Церкви к представителям других конфессий, других этнических групп, к неверующим?

Слово “терпимость” можно понимать различно. Можно понимать так: мы их глубоко или достаточно знаем, чтобы не произносить суждение, которое не соответствует реальности, мы с уважением относимся к тому, что эти люди, придерживаясь своих убеждений, ими живут реально, но мы остаемся при своем убеждении, что Православие является наиболее совершенным выражением Евангельского благовествования, хотя относимся к другим с полным уважением и вдумчивостью. Другая форма терпимости заключается в том, чтобы сказать: “Ну да, есть столько различных мнений, – а может быть, и мое никуда не годится...” – знаете, такое компромиссное отношение. Это, я думаю, никому никогда не помогает, потому что, как апостол Павел говорит, если труба не будет звучать ясно, то никто в бой не будет готовиться (1 Кор. 14, 8). И говорить: “Ну да, конечно, ваши взгляды, может быть, и завиральные, но вы хороший человек, и быть может, и мои не такие уж совершенные” – не помогает ни тому, ни другому. Диалог может быть только между людьми, которые **убеждены** в том, о чем они говорят, но готовы слушать другого: не откроет ли он им чего-то, чего они сами не нашли и не знают. Поэтому я думаю, что мы должны относиться с глубоким уважением к людям иной веры или к инакомыслящим, искать в том, что они нам говорят или что явствует из их жизни, обогащения себе и понимания их, и потом, вот как Силуан говорил этому миссионеру, с ними делиться тем богатством, которое у нас есть, которое, может быть, ни вы, ни он, ни она не воплощаем, но которое всё равно остается реальным.

Знаете, есть люди, которые не умеют или не могут воплотить чего-нибудь, но которые могут с убедительностью сказать, что это правда. Я вам хотел бы привести пример. Когда-то нашего священника в Париже немцы арестовали. Его заменил другой священник, который бывал в церкви, но почти никогда не служил, потому что большей частью он приходил вдрызг пьяный. Я тогда был старостой, я его ставил в угол и становился перед ним, чтобы, если он упадет, то упал бы на меня и я мог бы его удержать. Многие его осуждали. Я помню даже интересный разговор, когда он говорил о себе, что он плохой священник, но кто-то другой ему сказал: “Знаешь, ты не плохой священник, ты плохой человек, а священник ты хороший...” И вот я с этим абсолютно согласен, потому что я раз был у него на исповеди (когда настоятеля не было). Я помню, как он слушал мою исповедь. Он слушал из глубины собственного покаяния, и он плакал надо мной – не пьяными слезами, он был вполне трезвый, но он плакал о том, что вот молодой человек двадцати с чем-то лет борется и может тоже разбиться. Я помню, когда я кончил исповедь, он мне сказал: “Ты же знаешь, какова моя жизнь, ты знаешь, что я не имею права говорить о том, как люди должны жить и какими людьми они должны быть, но хотя я недостойн даже говорить об этом, я тебе скажу, что Христос сказал бы на моем месте, потому что ты молод и ты можешь не прийти в то состояние, в какое я пришел”... И он тогда мне говорил из Евангелия. И вот это человек, который

для внешнего наблюдателя – ну, пьяница и только, да еще какой позор: поп – да пьёт! А он мог сказать Божию правду из глубины своего **страдания**. Потом я узнал больше о нем. Он вместе с частью Белой армии покидал Крым на одном пароходе, на другом пароходе была его жена и двое детей, и этот пароход утонул; у него на глазах они погибли, а он ничего не мог сделать. И запил. На это кто-нибудь может сказать: а вот Иов не запил, – ну, если вы можете сказать, смеете сказать, что Иов не запил, так вы вырастите сначала в меру Иова: он бы его не осудил. И вот мне кажется, что не нравственное совершенство, не житейское совершенство, а внутренняя правда человека играет большую роль. И поэтому иноверный, инославный, язычник по нашим понятиям, неверующий – если он всем сердцем и умом живет согласно своей вере и верит в то, что говорит, может сказать слово правды, и мы можем научиться чему-нибудь. За это меня можно осудить, но я опять-таки скажу, что я слишком много людей видел достойных, с которыми я никак не могу согласиться, и которыми всё равно восхищаюсь: замечательные люди.

“Церковь должна быть так же бессильна, как Бог...”⁸

Владыко, может быть, издалика лучше видны те процессы, которые происходят в русской Церкви у нас на родине?

Знаете, издалика кое-что видно, может быть, ясней, а кое-что совсем не видно, потому что русская действительность настолько сложная, в ней столько различных течений, что можно кое-что уловить, а очень многое пропустить. Мне кажется, что Русская церковь выжила благодаря любви русского народа к богослужению, к литургической красоте, о которой говорил Нил Сорский. Я сейчас говорю не о специфической Иисусовой молитве, а о том общении живой души с Живым Богом, происходящем внутри богослужения, но не обязательно зависящем даже от понимания его, а просто от предстояния перед Живым Богом и от того, что Живой Бог находится в нашей среде.

Чего, конечно, не хватает Русской церкви – это образованности рядового верующего в вопросах веры. Еще в XIX веке Лесков писал, что Русь когда-то была крещена, но не была просвещена. И действительно, русский человек знает Бога нутром, душой. Как где-то говорит Лесков, у него “Христос за пазухой”. Но, с другой стороны, ему нужно еще приобрести очень много знания, не какого-то особого, а просто глубинного понимания значения, например, Символа веры, значения Господней молитвы. И в результате, у нас в России, мне кажется, очень много людей, которые не могли бы защитить свою веру при нападении на нее, отстоять ее на диспуте, но которые смогли бы умереть за нее, потому что они знают всем своим существом, нутром своим, что **то, во что они верят**, – правда, истина, жизнь. Поэтому сейчас стоит перед Церковью вопрос о том, как образовать верующий народ, как преподать ему веру. Во-первых, Евангелие. Евангелие в течение нескольких десятилетий было недоступной книгой. Надо каким-то образом эту книгу так распространить среди народа, чтобы побольше людей ее читали и жили тем, что является живой силой, огнем, животворной силой нашей веры, словами и образом самого Христа Спасителя. С другой стороны, необходимо, чтобы люди понимали то богослужение, в котором они участвуют. Не потому, что нужно какое-то умственное понимание, а потому, что богослужение так построено, чтобы передавать существо и содержание нашей веры, и чем больше его понимать – тем больше можно углубиться и в содержание православия. Поэтому сейчас есть две задачи, решать которые, вероятно, будет всё больше возможностей. Одна – это образованность мирян: в кружках, на открытых собраниях, на катехизических курсах. Другая задача, которая также сейчас приобретает все большее значение, – обучать молодое духовенство. Сейчас открывается четыре новых еще не семинарий, а курсов для подготовки духовенства, и это очень важно. Тут, конечно, надо еще оговориться, что не только богословское образование делает человека способным стать священником.

Быть священником – это искусство. Есть вещи, которые богословская школа не преподает, потому что она занята всецело богословским образованием. Я встречал многих молодых

⁸ Интервью было взято М.Б. Мейлахом в Лондоне и напечатано в газете “Литератор” (21 сент. 1990), органе Ленинградской писательской организации.

священников, которые недостаточно подготовлены во многих областях, которые не вошли еще в приходскую жизнь. Например, как исповедоваться и как учить других исповедоваться, как исповедовать других. Из каких источников произносить проповеди. Духовные писатели, отцы духовные говорили на различные темы, но проповедь говорится от сердца, говорится себе самому. Если она тебя не ударила в сердце, она никого не ударит в сердце. Если она не течет из твоего ума, переживаний, то она и другим не передастся. Дальше – вопрос, который я уже затронул: о том, как самому научиться молиться не только словами, не только уставно, но и глубинно, и как вести других в тайну этой молитвы. И наконец, еще одна проблема. Многие – и епископы, и священники, и миряне – ко мне приходили после Собора и говорили со мной в таком духе, что вот мы воспитаны в тоталитарном, авторитарном государстве. Мы привыкли к тому, чтобы нам говорили, что делать; не говоря уж о том, что многие ждут, чтобы им говорили также – что думать, но теперь перед нами новая задача: нам нужно научиться принимать решения и делать выбор, и мы не знаем, как это делать. Один очень образованный, тонкий человек так и спросил: “Скажите, как это делать?” Я ответил: если я Вам подскажу, как это делать, то Вы это сделаете опять-таки под властью, и Вам надо самому учиться думать, поступать по совести, рисковать собой (я не говорю сейчас житейски), рисковать, брать на себя риск, что Вы ошибаетесь, и вдумываться в то, что у Вас получается, а в чем Ваши ошибки.

Это, конечно, самое главное, но возникает и другой, смежный вопрос. Достаточно понятно, что происходило в очень долгие годы угнетения Церкви, неизвестно, кончился ли этот период, но, по крайней мере сейчас, в русле перестройки, Церковь обретает несколько другой статус. Но не таит ли это новой опасности подобного же рода, не чреват ли это пока что хотя и более чем ограниченные свободы каким-то дальнейшим неблагоприятным развитием в направлении взаимодействия с государством?

Политический конформизм – это болезнь Русской Церкви издавна. Еще до революции Церковь и государство составляли как бы единую гармонию, причем не всегда отрадную для Церкви. После революции Церковь замолчала. В период угнетения и крайних гонений политически высказываться никому не приходилось. И для того, чтобы научиться думать политически, говорить политически изнутри Церкви, нужна долгая, вернее, углубленная прошколенность.

Церковь не может быть принадлежностью какой бы то ни было партии, но она вместе с тем не беспартийна и не надпартийна. Она должна быть голосом совести, просвещенной Божиим светом. В идеальном государстве Церковь должна быть в состоянии говорить любой партии, любому направлению: это – достойно человека и Бога, а это – не достойно человека и Бога. Конечно, это можно делать из двух положений: или из положения силы, или из положения предельной беспомощности. И вот мне кажется, я в этом глубоко убежден, что Церковь никогда не должна говорить из положения силы. Она не должна быть одной из сил, действующих в том или другом государстве, она должна быть, если хотите, так же бессильна, как Бог, Который не насилует, Который только призывает и раскрывает красоту и истину вещей, Который не навязывает их, и как наша совесть, которая нам подсказывает правду, но которая нас оставляет свободными прислушиваться к истине и красоте или от них отказаться. Мне кажется, что Церковь должна быть именно такой; если Церковь занимает положение одной из организаций, которая имеет власть, которая имеет возможность принудить или направить события, то всегда остается риск, что она будет желать властвовать, а как только Церковь начинает властвовать, она теряет самое глубинное существо – любовь Божию, понимание тех, кого она должна спасать, а не ломать и перестраивать.

И, наконец, Владыко, это вопрос чрезвычайно общий, но так как мы из Ваших книг и проповедей знаем, что Вы очень глубоко присматриваетесь к тому, что происходит в жизни, происходит в мире, то скажите, как Вы оцениваете положение христианина в современном мире со всем, что сейчас в нем происходит?

Это вопрос трудный, потому что то, что мне хочется сказать, вероятно, обидит многих. Мне кажется, что сейчас весь христианский мир, включая и православный мир, страшно отделился от простоты, от цельности и от ликующей красоты Евангелия. Христос со Своей группой учеников

создал Церковь, которая была до того глубока, до того широка, до того цельна, что содержала в себе всю вселенную. Мы за столетия сделали Церковь одним из обществ человеческих. Мы меньше мира, в котором мы живем, и когда мы говорим об обращении этого мира в христианство, мы говорим, в сущности, о том, чтобы всех, сколько только возможно, людей сделать членами ограниченного общества. Это, мне кажется, грех наш. Мы должны понять, что Церковь христианская, верующие должны стать верующими не только по своему мировоззрению, но и по жизни, по своему внутреннему опыту, и что наша роль состоит в том, чтобы в этот мир, где так темно, где порой так страшно, принести свет. Пророк Исаия в одной из глав своей книги говорит: *Утешайте, утешайте народ Мой* – это слова Божий к нему и, конечно, к нам. “Утешайте” – это значит – поймите, в каком горе весь мир: и материально, и по своей растерянности, и духовно, по своей обезбоженности. Это значит – принесите в этот мир утешение, ласку Божию, любовь Божию, заботливость Божию, которые должны охватывать всего человека. Нет смысла говорить человеку о духовном, когда он голодает, – накормим его; нечего говорить о том, что человек в своем мирозерцании ошибается, когда мы не передаем ему живой опыт Живого Бога. И вот наше положение в современном мире – это положение подсудимых. Мир в своем отказе от Бога и от Церкви нам говорит: “Вы, христиане, ничего нам не можете дать, что нам нужно. Бога вы нам не дадите, вы нам даете мировоззрение. Оно очень спорно, если в сердцевине его нет живого опыта Бога. Вы нам даете указания, как жить, – они так же произвольны, как те, которые нам дают другие люди”. Нам надо стать христианами, – христианами по образу Христа и Его учеников, и только тогда Церковь приобретет не власть, то есть способность насилловать, а авторитет, то есть способность говорить такие слова, что при слышании их всякая душа дрогнет и во всякой душе откроется вечная глубина. Вот, мне кажется, наше положение и состояние сейчас.

Может быть, я пессимистически отношусь к нашему положению, но ведь мы не христиане. Мы исповедуем Христову веру, но мы из всего сделали символы. Вот мне всегда в душу ударяет наше богослужение на Страстной. Вместо креста, на котором умирает живой молодой Человек, – у нас прекрасное богослужение, которым можно умиляться, но которое стоит между грубой, жуткой трагедией и нами. Мы заменили крест – иконой креста, распятие – образом, рассказ об ужасе того, что происходило, – поэтически-музыкальной разработкой, и это, конечно, доводится до человека, но вместе с тем человеку так легко наслаждаться этим ужасом, даже пережить его глубоко, быть потрясенным и – успокоиться, тогда как видение живого человека, которого убивают, совершенно иное. Это остается как рана в душе, этого не забудешь, увидев это, никогда не сможешь стать таким, каким был раньше. И вот это меня пугает, – в каком-то смысле красота, глубина нашего богослужения должны раскрыться, надо прорвать его, и через прорыв в нашем богослужении провести всякого верующего к страшной и величественной тайне того, что происходит.

Да, это очень глубокая мысль. Ведь современный мир так налажен, так устроен, что, в принципе, он может как бы существовать и без Бога, без духовности. Он катится отработанным образом, и в нем можно благополучно проспать всю жизнь и умереть.

Но что мне кажется еще страшнее, это то, что можно называться христианином и прожить всю жизнь, изучая глубины богословия, – и никогда не встретить Бога. Участвуя в красоте богослужения, будучи членом хора или участником служб, – никогда не прорваться до реальности вещей. Вот что страшно. У неверующего есть еще возможность уверовать, у псевдоверующего эта возможность очень затуманена, потому что у него всё есть: он может объяснить каждую деталь и богослужения, и Символа веры, и догматики, а вдруг оказывается, что Бога-то он и не встретил. Он успокоен. У Лескова, опять-таки, есть место, где об одном человеке говорится: “Представьте себе, он до Христа дочитался!” А собеседник говорит: “Ну, тогда нет никакой надежды его изменить”. Вот если бы могли через богослужение, через Евангелие, через всё, что у нас есть, действительно “дочитать до Христа”, а не остаться по сю сторону... Я верующим стал через Евангелие и через живую встречу со Христом. Всё остальное пришло потом, и всё остальное для меня остается или прозрачным – не закрывает от меня того, что я пережил когда-то, – или я на это реагирую с острой болью: как можно на Страстной, например, петь с легкостью некоторые вещи, которые трагичны! Как можно, скажем, освящая Святые Дары, прислушиваться к музыке “Тебе благословим...”, а не дать себя нести этим пением в те страшные божественные глубины, где

происходит освящение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы! Мне – я человек немзыкальный – вообще непонятно, как можно в эти моменты петь, мне кажется, что надо было бы, чтобы все оцепенели в созерцательном ужасе. И когда слышат слова “И сотвори хлеб сей...”, – я не хочу даже повторять слова освящения. Но это, конечно, моя реакция, я не хочу сказать, что она верная, потому что знаю людей, в тысячу раз более духовно сознательных и одаренных, нежели я, которым это все не мешает, которых это, наоборот, несет в те глубины, но я знаю и многих, которые на этом останавливаются. Нужен огромный опыт молитвы в пределах богослужения, чтобы это богослужение перестало существовать само по себе, стало бы просто незаметным, как для рыбы незаметна вода, в которой она плавает. Я помню в Париже старого дьякона, отца Ефимия, который как-то со мной пел и читал на клиросе. И он читал и пел с такой быстротой, что я не мог уловить слов. И после службы – мне было тогда девятнадцать лет, я был наглый и самоуверенный, – я сказал: “Отец Ефимий, Вы сегодня украли у меня всю службу, и что хуже – Вы и сами-то не могли ее пережить, читая и поя таким образом!” И тогда он, расплакавшись, мне сказал: “Прости меня, я о тебе не подумал, но ведь я родился в страшно бедной семье в нищенской деревне. В семь лет меня отдали в монастырь, и вот теперь я уже шестьдесят лет слышу эти слова и их пою, и знаешь (говорит он мне), в тот момент, когда я вижу слово, раньше чем я его произнесу, – словно какая-то рука во мне тронула струну, и вся душа начинает петь!” И я понял тогда, что его душа стала как бы инструментом и что стоит самого малого прикосновения – она, как Эолова арфа, которая, лишь коснется ее ветерок, вся поет, – отзывается на эти слова, так что они даже не проходят через ум, сердце, сознание. Эти слова уже являются пением, уже религиозным опытом. Но, чтобы дойти до этого, нужно стать старцем отцом Ефимием, над которым люди смеялись, потому что он и голос потерял, и пил много, и ничем не выдавался, а вот перед Богом вся его душа пела, и это дай Бог всякому!

Вот, если то, что я сказал, может кому-то пригодиться – прекрасно!

“Мы должны нести в мир веру — не только в Бога, но в человека...”⁹

Владыко Антоний, отношения между религией и культурой очень осложнились; культура, в сущности, отказалась от той основы, на которой она исконно могла и должна была стоять. Люди, приходящие в православие, уходят из культуры, предают презрению и забвению свои мирские занятия – научные, художественные и так далее.

Мне кажется, что отрыв культуры от религии в значительной степени является результатом того, что религия или, вернее, люди, которые исповедуют ту или другую религию, часто христианскую веру, сузили свое видение вещей. В сущности, наше отношение ко всему созданному и ко всему историческому, культурному, научному процессу должно было быть то же самое, что Божие отношение, то есть вдумчивое, любовное отношение. Святой Максим Исповедник еще в VI веке говорил о том, что человек создан из двух стихий: духовной, которая его сродняет с Богом, и физической, которая его сродняет со всем сотворенным миром, и роль человека – весь сотворенный мир одухотворить, весь сотворенный мир привести к Богу так, чтобы, по слову апостола Павла, *Бог стал все во всем*.

Исторически, мне кажется, мы в значительной мере забыли этот путь. С одной стороны развилась религия, то есть вера, вероучение, аскетический и мистический путь людей, а с другой стороны остался мир как бы вне религиозного мышления. Говорить, что мир во зле лежит, что нам не надо быть людьми мирскими, совсем не значит, что мы не ответственны за всё, что составляет Богом сотворенный мир. И нет такой области, такой отрасли, которая не могла бы быть свята в наших глазах и освящена верующим человеком.

Я окончил естественный факультет, был врачом после медицинского; и я переживал изучение физики, химии, биологии, медицины как часть богословия, то есть как часть познания того, что Бог сотворил, того, в чем Он открывается, того, что Он любит – потому что Бог ничего не сотворил властью, а сотворил любовью. И мне кажется, что Возрождение на Западе или аскетизм,

⁹ Интервью, взятое Михаилом Эпштейном в Лондоне в апреле 1989 года, было опубликовано в сборнике “Человек и экология” (М.: Знание, 1990) под названием “Экология духа” и в журнале “Литературное обозрение” (1991, № 2). Печатается с небольшой редакторской правкой.

который отвел людей от всего мирского, от политического, общественного, общекультурного мышления повсеместно, и в частности в православном мире, – несчастье. Культура должна была бы быть вся пронизана нашим религиозным опытом, должна быть осмыслена им. И мне кажется, что в наше время пора переоценить и наше положение, и положение обезбоженной культуры, то есть обмирщенного мира.

С нашей стороны (об этом я говорил на Соборе), мы должны были бы принести покаяние в том, что мы дали целому миру, миллионам людей потерять Бога – тем, что оказались не христианами до конца, что никто, встречая нас, не видит Христа в наших глазах; в нашем образе не отражается сияние божественной жизни. И в этом и Церковь в целом, и каждый христианин должен был бы принести перед Богом покаяние.

Говоря о России, например: колоссальное отпадение от веры не объясняется ли словами Лескова, который говорил, что Русь была крещена, но никогда не была просвещена? А кто ответит за это просвещение или отсутствие просвещения, как не христиане? С другой стороны, рассматривая культуру Запада (я сейчас не буду думать даже о Востоке, но о Западе, включая Россию) и весь тот мир, который взшел как бы на дрожжах христианской веры – нельзя ли нам взглянуть в этот мир и переоценить его, расценить его по-новому, обращая внимание на то, сколько в нем чисто евангельского? Весь мир, как бы он ни был обезбожен, вырос из евангельской проповеди. И то, что многие мирские мыслители, политики проповедуют или провозглашают, – в сущности, коренится в Евангелии. Например, Евангелие – единственное, что утвердило абсолютную значительность, абсолютную ценность отдельной личности. Древний мир не знал этого.

И я думаю, что нам надо совершенно заново пересмотреть наше отношение к отпадшему миру. Во-первых, осознав нашу ответственность за это отпадение, а во-вторых, прозревая глазами веры и любви ту вечную евангельскую правду, то сияние образа Божия, которое остается в отдельных лицах и, значит, в совокупности этого общества.

Самое легкое для нас, конечно, отойти от мира и создать свое замкнутое общество. Но это замкнутое общество, по моему убеждению, есть отрицание нашего призвания. Потому что Христос пришел спасти погибшего. Он пришел грешных спасти, а не праведных. Он пришел принести мир с людьми, которые были во вражде с Богом. Помню, я разговаривал с патриархом Алексием (Симанским; † 1970. – Ред.) и ставил ему вопрос: как бы он определил Церковь? Он ответил: Церковь – это тело Христово, распятое для спасения мира... Я его знал довольно-таки хорошо, и он, конечно, думал не о том только, что Церковь – общество людей, которые молятся о спасении мира: они должны идти в мир. Христос нам сказал, что мы свет, – мы должны идти во тьму; что мы соль, которая предохраняет от гниения, – мы должны идти туда, где гниль начинается (все это – поскольку мы обладаем верой, то есть уверенностью в существовании Бога).

Божественный масштаб человека в том, что всякий человек призван стать *причастником Божественной природы*, как говорит апостол Петр. Вот эту веру – не только в Бога, но в человека – мы должны принести в мир. Мы должны принести в мир уверенность, что Бог не напрасно создавал людей, что Он в каждого человека верит, что Он надеется на каждого, что любит до крестной смерти каждого человека; и поэтому нет такого человека, как бы он ни был далек от Бога в своих собственных глазах, – который не был бы бесконечно близок Богу, так нас возлюбившему, что на кресте Он приобщился ужасу нашей богооставленности и воскликнул: *Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?* Он умер нашей смертью, богооставленностью нашей, и никто не может измерить трагедию неверующего или атеиста, сознательного безбожника так, как Христос мог тогда ее пережить. Он приобщился всему тому, что представляет собой тварность, оставляя в стороне грех, но принимая на Себя все трагические последствия греха. И поэтому мы неразлучны от мира, мы существуем ради мира. И это очень важный, по-моему, момент.

Если говорить об обращении, то есть о людях, которые уже в зрелом возрасте встречают Христа, находят веру – я в какой-то мере принадлежу к этому роду людей... Конечно, первое, к чему стремишься – это всё забыть и быть только со Христом, только в молитве, только в чтении Священного Писания, только в углублении того чуда, которое раскрылось. Но тут мы должны помнить то, что случилось с апостолами Петром, Иаковом, Иоанном, которых Христос взял с

Собой на гору Преображения. Они там видели Христа во славе. Но в славе Он им явился в момент, когда говорил с Моисеем и Илией о Своем крестном уходе из мира. Полнота божественного сияния – это крестная любовь. И когда Петр Ему сказал: “Останемся здесь, нам здесь хорошо быть”, Христос ответил: “Нет, пойдем отсюда”. Он увел Своих учеников в долину, и там они встретили бесноватого ребенка, горе отца, его полуверу, бессилие учеников исцелить этого ребенка... С горы Преображения, где ученикам хотелось остаться навсегда, Он именно их привел в гущу человеческого горя.

Это нам более, конечно, понятно, чем погружение в культуру в ее высотах. Но мы должны уметь читать: читать произведения искусства, читать литературу, вчитаться в пути Божии в истории – и в личной истории человека, и в истории народа. И нет ничего человеческого, что должно было бы быть чуждо христианину (это слова не мои, а Тертуллиана). У меня теперь довольно-таки большой опыт людей, находящихся Бога, обращающихся к Богу, и мне всегда вспоминаются слова Исаака Сирина: Если увидишь новоначального, возносящегося на небо, схвати его за ноги и сбрось наземь, потому что чем выше он взлетит, тем больнее он ударится, когда упадет... И мне кажется, что это очень, очень важно помнить. Трезвость, постническое отношение: то есть без жадности и в молитве, и в чтении, во всем... Готовность, как кто-то из писателей древности сказал, оставить Бога ради Бога, то есть оставить молитву, приобщенность ради того, чтобы послужить ближнему. Иоанн Лествичник говорит: если ты находишься в созерцательной молитве и услышишь, что твой сосед по келье просит чашу воды, оставь твою молитву и дай ему воду, потому что молитва – твое частное дело, а эта чаша воды – дело божественное.

Скажите, а может ли православный учиться у других культур и у других вероисповеданий, есть ли что-то духовно полезное в том, чтобы православный приобщился к сокровищам, скажем, католической или протестантской духовности, или индуизма, буддизма через культуру или непосредственно через чтение соответствующей вероучительной литературы? Как вы считаете, что сейчас полезнее – изоляционистская или, напротив, открытая стратегия духовного саморазвития?

Есть, конечно, очевидная опасность в том, что человек неискушенный, религиозно малоопытный или умственно не подготовленный может попасть в плен умов гораздо более развитых, утонченных, чем его собственный ум, и поэтому быть увлеченным на какие-нибудь пути неправды. Я сейчас думаю больше о католичестве, чем о протестантизме, потому что (думаю), в католичестве гораздо больше неправды, а в протестантизме гораздо меньше правды. В протестантизме не хватает многого, тогда как в католичестве очень многое извращено. Но вчитываться, вдумываться, сравнивать всё с учением православия может быть очень полезным упражнением в том смысле, что если это делать, продолжая молиться, продолжая жить церковной жизнью, продолжая общаться с Богом на всех доступных путях, то есть и молчанием, и молитвой, и чтением, и таинствами, то мы можем постепенно всё яснее и яснее увидеть красоту, глубину и правду Православия.

Что касается нехристианских религий, я думаю, что Бога никто не может выдумать, и поэтому всякая религия, которая говорит о Боге, говорит изнутри какого-то непосредственного опыта Божества. Этот опыт может быть очень неполным, но этот опыт реален; он может быть отчасти искаженным именно своей неполнотой, потому что природа не терпит пустоты; но вместе с этим есть какое-то непосредственное знание, опытное знание, к которому мы можем приобщиться или которое может кое-что раскрыть. Греческое слово “теос” – Бог – имеет два корня. Один корень говорит о Нем как о Творце, а другой корень как бы направляет мысль на то, что это Тот, перед Которым поклоняются. И немецкое слово Gott или английское God – от предгерманского корня, означающего “тот, перед которым падаешь на колени”... Я думаю, что нет ни одного человека на земле, который когда-либо не пал на колени перед Живым Богом, Чью близость он вдруг ощутил, – и который не встретил бы Живого Бога. Как он потом этот свой опыт начнет выражать умственно, какие формы ему придаст, как истолкует его – вот тут могут начаться отклонения, ошибки, но коренной опыт, мне кажется, всегда реален.

Конечно, можно сказать, что человек может стать предметом искушения от сатаны, но тут критерий есть. Святой Серафим Саровский говорил о том, что если внутреннему опыту сопутствует свет ума, теплота сердца, радость, чувство глубокого смирения и благодарности, можно думать, что этот опыт от Бога. Дьявол холоден; когда мы под его действием, мы вступаем в область мрака, холода, гордыни и т.д. Если в человеке есть первое, то можно сказать, что он коснулся **края ризы Христовой**. Я не говорю, что он приобщился к Богу полностью, но его опыт принадлежит области Божией. Конечно, каждый раз, как Бог приближается к человеку, приближается и темная сила, желающая его оторвать... Но это справедливо сказать и о православии: как только ты начинаешь молиться, начинаются соблазны; как только ты ищешь интегральную духовную жизнь, тут же начинаются какие-нибудь трудности – извне, изнутри; это общий закон.

Может быть, я скажу это и в позор себе, но я очень многое понял в христианстве и в православной вере от чтения и от общения с нехристианами, просто с секуляризованными людьми, с неверующими, которые были, если можно так выразиться “человеками”, то есть в которых я увидел настоящего человека, способного на любовь, на жертвенность, на сострадание, на милосердие, на всё то, о чем говорит притча об овцах и козлицах. Там ни одного слова не сказано о том, что люди будут судиться по тому, какие были у них богословские убеждения; вопрос только в том: ты был человеком или ниже человека? Если был человеком, тебе открыт путь божественный; если ты не был даже человеком, тогда не требуй небесного. И вот мне кажется, что везде можно найти очень много ценного, – не открываясь всему, а вглядываясь во всё. Как говорит апостол Павел: *всё испытывайте, доброго держитесь* (1 Фес. 5, 21). Но если мы не будем “испытывать”, то есть не будем всматриваться, вглядываться, стараться понять то, что вне нас, мы, конечно, сузимся настолько, что перестанем быть воплощением Православия. Потому что Православие так же просторно, как Сам Бог. Если оно не в размер Бога, то это одна из религий, это не опыт о Боге.

Скажите, почему часто людям отзывчивым и добрым по естественной склонности своей души Господь не посылает веры, сознательно выраженной? Возможно ли добро без веры?

Я не могу на это ответить; если бы я мог, то прославился бы во всем православном мире за мудреца... Но мне кажется, что можно какие-то вехи указать. Во-первых, нет ни одного человека, в котором, может быть, схороненный, но все же живой образ Божий не продолжает жить и действовать. Нет ни одного человека, который не является иконой и в котором не действует эта его иконность, его сходство с Живым Богом.

Из этого следует, что очень многое из того, что мы называем человеческим, на самом деле является гранью божественного. Когда вы читаете Евангелие, вы встречаете не только Живого Бога, но истинного, единственно истинного Человека в лице Христа, Человека в полном смысле этого слова. И поэтому всякий человек – тем, что он человек – уже приобщен к этой тайне Христа.

Другое (но это моя выкладка, и поэтому я не уверен в объективности своей мысли): человечество не состоит из отдельных, разрозненных особей. Каждый из нас рождается не как новая тварь, а как наследник всех предыдущих поколений. Это подтверждается тем, что в Евангелии – и у Матфея, и у Луки – нам дана родословная Христа. Если для Него родословная имеет какое-либо значение, то она имеет значение и для нас. Он является наследником всех родов человечества от Адама до Пречистой Девы Богородицы. Во всех этих родах есть святые, есть те, кого мы называли бы обычными грешниками, – люди несовершенные, и есть грешники очень отъявленные; скажем, Раав-блудница – явный такой пример, и она является предком Спасителя Христа.

Можем ли мы себе представить, что их делает частью этого потока, который в итоге приводит к воплощению Сына Божия? Мне кажется, то, что, греховные или праведные, они всем своим существом стремились (успешно или вполне, на наш взгляд, безуспешно) к полноте бытия, как они его понимали, то есть к Богу. Они жили ради Бога. В еврейском народе, конечно, это видно еще ярче, чем в язычестве, потому что весь еврейский народ был направлен единственно к этому. И мне кажется, что каждое поколение наследует от всех предыдущих – в частности,

ребенок от своих родителей и ближайших предков – свойства ума, сердца, воли, телесные особенности и разрешенные и неразрешенные проблемы. То есть если родители в себе самих разрешат какую-то проблему, они передают детям человечество более утонченное, освобожденное от этого “проклятого вопроса”, употребляя слова Достоевского. Если они не сумеют его разрешить, следующее поколение рано или поздно с ним столкнется. И я встречал людей, которые мне говорили: “На меня находит то или другое искушение, во мне встает та или другая проблема, которые мне совершенно чужды. Откуда это?” И, копаясь в их прошлом, мне удавалось несколько раз найти у прауродителей и у родителей ту же неразрешенную проблему: она встала перед этим человеком, который ее разрешал именно потому, что знал, что это унаследованное и что, разрешая эту проблему, он разрешает ее для своей бабушки, для своего деда, для своего прадеда и для своих родителей.

Лет двадцать назад был сделан в Америке очень интересный опыт. Врач-исследователь экспериментировал над собой лекарствами, которые как бы уничтожали грань между сознанием и подсознанием, несознанием. Он описывает это очень интересно. Он увеличивал дозы под контролем своего коллеги. Сначала он себя ощущал как он есть, потом он в себе открывал такие глубины, о которых не знал... Когда он шел дальше – вдруг всплывали различные образы: образы предков, образы людей, которые по одежде, по языку принадлежали к той или другой эпохе прошлого, которые были его плотью и кровью, которые как бы жили в его душе и судьба которых решалась в его судьбе...

Это моя выкладка, поэтому у вас нет никакого основания верить тому, что я говорю. Но для меня это очень ярко, очень убедительно. И поэтому то, что человек не приобрел веру, не значит, что он не подготавливает почву к тому, чтобы вере открылся какой-нибудь из его потомков. И через этого потомка он сам оправдывается у Бога, потому что окажется той почвой, на которой могла вырасти эта вера. Это, может быть, мои фантазии, но я не уверен, что это фантазии. Я уверен, например, что Раав-блудница была оправдана во Христе.

Вот мое единственное объяснение; хотя есть и другая сторона. *Вера от слышания, слышание – от слова Божия* (Рим. 10, 17), но не только от слухового слышания, а от того, кого вы встречаете. И не мы ли, верующие, виноваты в том, что окружающие нас люди, встречая нас, не встречают Христа? Смеем ли мы упрекнуть неверующего в том, что, глядя на нас, он не может верить в Христа? Еще апостол Павел говорил: *ради вас имя Божие хулится* (Рим. 2, 24). Люди бы и рады поверить, но думают: “Господи, если это ученики Христовы, то зачем нам к ним приобщаться?..” И за это мы ответственные; и себя самих осуждаем, когда говорим: вот, эти люди не верят, несмотря на то, что мы говорим... Мой духовный отец мне раз сказал: никто не может отвернуться от падшего мира и обратиться к Богу, если не увидит либо на лице, либо в глазах хоть одного человека сияние вечной жизни... Если бы люди сейчас встречали Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Иоанна Кронштадтского (можно назвать сонмы святых), они бы остановились, посмотрели и сказали: “Что в этом человеке, чего я нигде прежде не видел?..” Английский писатель Льюис в одной своей книге говорит: Всякий неверующий, встречающий верующего, должен был бы остановиться и воскликнуть: “Изваяние стало живым человеком, каменная статуя ожила!..” Но можно ли это сказать о нас? И ответ на вопрос “почему они не верят?” очень прост: потому, что они ни в ком из нас не встретили откровения о том, что такое человек, встретивший Бога.

Владыко, еще один вопрос. Встречаются христиане, во всяком случае, люди, так называющие себя, которые каким-то образом отождествляют христианство, или по крайней мере православие, с русской идеей, с русской верой, которые убеждены, что русский народ обладает мессианским предназначением, в том смысле, что он несет правду Божию всем прочим народам. Возможно ли это после “ограниченно” мессианского – то есть в пределах определенного исторического срока, о котором говорится в Ветхом Завете?

Я думаю, что можно вернуться к мысли летописца Нестора; он говорит, что каждый народ обладает какими-то личными, своеобразными свойствами, которые должен включить в общую гармонию всех христианских народов (это не цитата, но это его мысль); что все христианские народы должны были бы быть, как голоса в хоре или как музыкальные ноты. Каждая из них

должна звучать своим звуком, с предельной чистотой, но вместе с тем они должны сливаться в одну гармонию, в один-единственный сложный, богатый звук. В этом смысле Христос является всечеловеком, Он не является ни евреем, ни русским, ни немцем, никем; Он не является ни белым, ни черным, ни желтым; Он – Человек через заглавное “Ч”. И вполне справедливо и китайцы, и негры, и черные – все – пишут образ Христа в своем национальном виде. Есть английский Христос, есть немецкий Христос, русская икона, греческая икона, и т.д. Поэтому мы не можем говорить о том, что какой бы то ни было народ по своей онтологической сущности является единственным.

Можно сказать, что исторически тот или другой народ, в ту или другую эпоху, предназначен сыграть ту или другую роль. Скажем, было время, когда расцвет православия был в Византии; теперь мы не можем этого сказать. Теперешний Константинополь не является древней Византией. Можно сказать, что в русском народе есть такие душевные свойства, которые, может быть, его делают более широким, всеобъемлющим. Но это – случайное, это может быть делом определенной эпохи.

Скажем, из моего опыта здесь: русское православие понятно и доступно Западу, западным людям, греческое – нет. Потому что греческое настолько этнически обусловлено, настолько греческое (я не говорю “эллинистическое”, потому что это предполагает культуру, а – греческое в смысле узкой этники), что оно не доходит до западных. Я знаю двух православных англичан: епископа и архимандрита в Греческой церкви; они при мне разговаривали после богослужения в греческом соборе, и один из них сказал: если бы было только греческое православие, никто бы из нас православным не стал. Русское православие открывается людям на Западе, как не открывается греческое или арабское.

Но когда я был молод, я принадлежал к чисто русской православной среде, где мы и не думали употреблять иностранные языки и включать в свою среду нерусских. А теперь, за последние десятилетия, православие стало верой очень многих западных людей. Во-первых, потому что от первой эмиграции через смешанные браки с людьми всех национальностей выросло четвертое поколение детей и молодежи; они русского языка больше не знают, они не вкоренены в русскую культуру в том смысле, в каком люди в Советском Союзе сейчас или в дореволюционной России были культурно русскими. Они чистые англичане, немцы, французы, что хотите. Но они православные. Кроме того, у нас несколько сот обращенцев просто из местного населения; у нас англичане, во Франции – французы, есть немцы, – люди, которые кровно ничего общего не имеют с русской действительностью, но которые обрели Бога, Евангелие, Христа, веру, Церковь, новую жизнь – в православии. И говорить, что эти люди – как бы православные второго сорта, невозможно; они такие же православные, как самые коренные русские.

И слава русского православия на Западе, мне кажется, в том, что мы не являемся этнической церковью. Мы являемся носителями русской духовной культуры, с ее свойствами, с переживанием Бога как предельной красоты, истины, и правды, и жизни, воплощенными в богослужении, в благоговейном его совершении. Цельность и простота нашего богословия, наша открытость всемирному мышлению, сострадание, которое родилось от великого страдания – все эти свойства открывают Православие другим людям. Поэтому я уверен, что русский народ, Россия должна сказать живое слово Православия, особенно после того, как она прошла через горнило испытаний 70 лет с лишним, через гонения, ужас, искания, через тьму и свет. Она может сказать более убедительно, чем те православные народы, которые не проходили через трагедию, которые не обрели заново свою веру, уже сознательно, лично, по-зрелому, по-взрослому. Но не потому, что мы русские, а потому что такова была наша судьба.

Я говорю “наша”... Конечно, в Советском Союзе пережито в тысячу раз больше, чем, скажем, мое поколение переживало на Западе; но и мое поколение кое-что пережило. Мы не проплыли через историю этих семидесяти лет без ран, без боли, без тоски. И поэтому я верю, что русский народ может быть богоносцем. Но это не всегда видно; а порой совершенно этого не видно. Бывали эпохи, когда другие народы были богоносцами; и мы должны быть очень осторожны, потому что очень легко от гордыни пасть, почувствовав, будто мы – избранные...

Вы полагаете, что то отпадение огромных масс от Церкви, которое совершилось в нашей недавней истории, – это знак какого-то избранничества, или это грех?

Это можно истолковать разное. Можно сказать то, что я уже сказал: Русь была крещена, но не была просвещена; было очень много темной веры, очень много суеверия – и было очень много золота в русском народе. Но за недостаток просвещения, за темноту, за суеверия ответственна, конечно, Церковь. Я говорю Церковь не как тело Христово, – просто конкретная церковь, вы, да я, да все, кто жил до нас, кому было дано учить людей и кто не учил никого или учил плохо.

Это одно. С другой стороны, *время начаться суду с дома Божия* (1 Пет. 4, 17). Я помню, что в моей молодости эта фраза употреблялась как доказательство того, что Русская Церковь является Церковью над всеми церквями. Я думаю, что это очень оптимистическое толкование; это, может быть, очень было бы приятно, но это не было так.

Но Бог действительно произнес какой-то страшный суд над русской церковной действительностью; и не только над церковной, но и народной действительностью. Пути Божии неисповедимы; мы не можем знать, каковы Божии пути, мы не можем знать – почему, но мы можем знать – куда. Мы можем знать, что в результате всех пережитых трагедий случилось какое-то возрождение, какое-то новое восприятие Евангелия, Христа, Бога, Церкви как чего-то живого и совершенно нового. А это большая милость Божия.

"У нас есть что сказать о человеке"¹⁰

Было время в древности, да и не так давно, во всем мире, когда тема о нашей вере в Бога была абсолютно центральна и единственна. За последние десятилетия эта тема не то что сменилась темой веры в человека, но отделилась вопросом о том, верим ли мы вообще в человека или нет. И мне кажется, что эта тема очень современна как на нашей родине, так и на Западе. В чем же она заключается?

Атеист скажет, что современному человечеству Бог не нужен, потому что человек Его заменил, со всем богатством своего ума, со всей глубиной своей личности, со всеми возможностями своей деятельности, своего знания, которые кажутся такими неисчерпаемыми. Верующий, со своей стороны, скажет, что он верит в человека, но верит не в тот эмпирический его образ, который нам представляется в истории, а в другого человека, который, конечно, включает и этот образ, но его превосходит значительно. Человек для неверующего – это предел как бы эволюционного развития, которое, конечно, может продолжаться, но продолжаться по той же линии. Для нас, христиан, представление о человеке несколько иное. Для нас человек в полном смысле этого слова может быть понимаем только как Господь Иисус Христос, то есть как Богочеловек, как человек, у которого есть не только земное измерение, но измерение также и небесное. Человек атеистического мира существует как бы в двух измерениях: времени и пространства. Человек, каким видит его христианин, имеет еще одно измерение – Божественное. Христос нам показывает ёмкость человека, его изумительную глубину, изумительный размер. Ведь подумайте: если действительно, как мы верим, Бог мог стать человеком в полном смысле этого слова, и одновременно, Человек Иисус Христос не стал сверх-человеком, не стал существом иным, непохожим на других людей по человечеству Своему, это говорит нам о том, что человек в себе имеет такую глубину, такую широту, что он может вместить Божество. Когда-то архиепископ Михаил Рамзей¹¹ сказал, что в человеке есть такая глубина и такая широта, которую не может заполнить ничто тварное и земное, что в нем есть какая-то бездна, в которую можно уронить все знание, всю любовь, все человеческие чувства, все тварное, и оно падает в некие глубины и даже какого-то дна не трогает, от которого мог бы быть отзвук; что наполнить эту бесконечную глубину может только Сам Бог. Вот две картины, два представления о человеке.

Но вместе с тем и верующие, и неверующие равно озабочены о том же существе: о **человеке**; и человек является единственным как бы пунктом встречи полного атеиста и сознательного верующего. Эта встреча может быть полемичной, если мы подходим с желанием уничтожить

¹⁰ Текст выступления Владыки в Москве в Доме художника 15 октября 1989 года дополнен выдержками из его бесед предыдущих лет. Печатается по журналу "Златоуст" (1992, № 1).

¹¹ Михаил Рамзей, архиепископ Кентерберийский, глава Англиканской церкви в 1961-1974 г.

взаимно наши представления; это может быть встреча очень углубленная, вдумчивая, которая может обогатить тех и других; но это место **встречи**, и это замечательное явление. Потому что одна из самых трагических вещей на свете – это когда два человека или две группы людей **не могут** встретиться, не только не имеют общего языка, но не имеют даже точки соприкосновения, когда они, как две параллельные линии, идут каждая в свою сторону, как две противоположные бесконечности. И вот эта первая задача, которая в наше время, как на Западе, так и на Востоке, может быть поставлена с особенной серьезностью. Сейчас и тут, и там в значительной мере страсти выгорели, мы можем смотреть друг на друга с какой-то долей дружелюбия и с желанием друг друга понять, не с желанием обязательно друг друга уничтожить и даже не с желанием немедленно друг друга убедить; потому что первая стадия должна быть в том, чтобы вслушаться и взглядеться друг во друга. Вы, наверное, замечали, как редко, когда два человека разговаривают, они слушают друг друга. Большею частью пока один говорит, другой приготавливает ответ; пока один говорит, другой выбирает в том, что слышит, то, на что он может ответить, то, о чем он может сказать: а я лучше знаю, а я вам могу сказать нечто еще более поразительное,— и возражает. Очень редко бывает, что мы слушаем друг друга с таким открытым умом, с таким страстным желанием понять другого, особенно когда то, что он говорит, нам чуждо.

Мы не так относимся к изысканиям нашим в науке. В науке мы вглядываемся в реальность, в различные феномены физики, химии, биологии без предвзятости; в каком-то отношении для нас важна реальность, а не наше представление о ней. В идеологической области (сюда я включаю и религиозные убеждения, выраженные неудовлетворительным образом) нам кажется, что важно быть правым, что важна не столько объективная реальность, сколько — отстоять наше представление. И это очень трудно осуществить; совсем нелегко научиться слушать с намерением услышать, очень трудно смотреть с намерением увидеть.

Я когда-то, много лет тому назад, был врачом, и часто видел, как посещают друзья больных. Приходит человек к умирающему, и ему страшно заговорить о смерти с умирающим; ему также страшно, что умирающий заговорит об этом; и поэтому человек осторожно спрашивает: “Ну, а как ты себя сегодня чувствуешь?” А умирающий, тяжело больной, видя в глазах посетителя, что тому страшно, что он не хочет услышать правды, и отвечает уклончиво или прямо неправдиво: “Да нет, лучше, чем вчера...” И тот, кому страшно было услышать правду, ухватывается за эти слова и говорит: “Ах, я так рад, что тебе лучше!” – и сокращает встречу, чтобы правда не вышла наружу... Может быть, с вами этого никогда не было, но у меня большой опыт в этом отношении, я пятнадцать лет был врачом, из которых пять лет на войне, и видел умирающих в большом числе; и видел эту ужасную картину, как человека оставляют одиноким, потому что **не** хотят слышать, **не** хотят видеть, потому что самому страшно. И вот тут требуется отрешенность от себя самого, готовность взглядеться в другого человека, слышать не только его слова, но интонацию его голоса, звук этого голоса, ослабевшего, порой дрожащего, видеть глаза, которые говорят обратное тому, что говорят уста, и не испугаться, а ласково, любовно сказать другому: не обманывай меня, не обманывай себя, я знаю, что это не так; давай говорить; разомкнем этот круг молчания, разрушим эту стену, которая тебя делает одиноким, но и меня делает безнадежно одиноким, разобщает нас так, что наша взаимная любовь не может нас больше соединить.

Вы, может, скажете, что между идеологическими противниками часто нет этой любви,— это еще страшнее, это не лучше; не утешение — сказать, что я не могу говорить с человеком, который мой идеологический противник, потому что аргюі я его уже выключил из области этой любви. Неужели я уже теперь его осудил окончательным судом? Неужели ни на земле, ни в вечности ему нет места там, где я надеюсь быть? Это же страшно подумать! И это то, что мы делаем, когда отказываемся от человеческой встречи. Разумеется, есть периоды, когда обстоятельства не позволяют в широком масштабе разговор, спор, диалог, но нет таких обстоятельств или таких времен, когда люди не могут хоть ошупью попробовать друг друга понять, когда люди, которые честны, не могут попробовать вслушаться в другого и понять, каким образом может он так чувствовать и так думать.

И у нас есть, что сказать. У нас есть, что сказать о человеке, у нас есть, что сказать такого, что может вдохновить другого, не уничтожить; речь не идет о том, чтобы дать неверующему

картину о человеке, которая уничтожила бы его картину; речь идет о том, чтобы ему сказать о человеке нечто большее, чем то, что он думает, ему показать, что человек бесконечно больше величиной, глубиной, чем то, что неверующий о нем думает, что **он сам** гораздо значительнее того, что он о себе воображает. **Против** человека нет смысла говорить; как только вы говорите против человека, он, разумеется, будет себя защищать, потому что всякому страшно быть уничтоженным, всякому страшно, чтобы ему доказали его несостоятельность.

Когда-то, в двадцатые годы, во времена, когда это еще было возможно, один из иподиаконов патриарха Тихона, Владимир Филимонович Марцинковский¹², выступал в диспутах. И в одной из своих статей он написал замечательное слово: никогда не говорите против своего совопросника, говорите **выше** его, так, чтобы он слушал и вырос **над** собой и восхитился бы тем, чем он мог бы быть, если бы он только мог подняться над своим собственным уровнем... Так можно говорить с любым человеком.

И что же мы можем сказать о человеке? Мы можем принять человека, каким он есть в опыте любого безбожника, любого атеиста, любого человека, который никогда не встречал Бога и который не является идейным безбожником, а просто практически живет только в земном, вещественном плане, и мы можем с ним говорить о том, какие глубины **мы** знаем о человеке.

Я вам хочу дать пример из смежной области. В жизни старца Силуана¹³, о котором некоторые из вас знают или читали, есть рассказ о том, как он обсуждал миссионерскую деятельность с одним из русских епископов, живших на Востоке. Этот епископ был очень прям, очень убежден и очень фанатичен. И Силуан его спросил: как же вы стараетесь убедить, обратить в христианство людей, которые вас окружают? Тот ему ответил: я иду в буддийское капище и обращаюсь ко всем присутствующим, говорю им: то, что вы видите, все эти статуи – это идолы, это камни, это дерево, это ничто; бросьте, разбейте, поверьте в истинного Бога!.. Силуан ему говорит: а что с вами тогда случается? Миссионер ему отвечает: эти бесчувственные, безумные люди меня выкидывают из храма и бьют!.. Силуан ему говорит: а знаете, что вы могли бы достичь лучших результатов, если бы вы пришли в их храм, посмотрели, с каким благоговением эти люди молятся, как они чтут свою веру, позвали бы нескольких из них посидеть на лестнице снаружи и сказали бы: расскажите мне о вашей вере... И каждый раз, когда то, что они говорят, давало бы к тому повод, вы могли бы им сказать: как прекрасно то, что вы только что сказали! Если б только к этому прибавить вот такую-то мысль, как это бы расцвело в **полную** красоту!.. И так вы внесли бы в их мировоззрение то тут, то там ту или другую мысль из Евангелия или из веры православной. Вы их не обратили бы сразу, но вы бы обогатили их тем, что Христос принес на землю...

В каком-то отношении, в виде параллели, мы могли бы делать нечто подобное, когда имеем дело с людьми, которые в человеке видят только земное существо, если бы мы раскрывали те глубины, о которых они не имеют понятия. Но тут мы встречаемся с другой трудностью.

Я помню, как мой духовный отец мне раз сказал: никто не может отрешиться от земли и искать Царствия Божия, кто не увидел в глазах или на лице хоть одного человека сияния вечной жизни... Некоторые из вас читали Евангелие и помнят рассказ о том, как Христос исцелил слепого от рождения. Этот человек никогда не видел окружающего его мира, он никогда не видел человеческого лица, он никогда не видел глаз человеческих; и в момент, когда Христос его исцелил, первое, что он увидел, это лик Христов, то есть лицо воплощенного Бога и глаза Божиего милосердия и любви. Но кто осмелится утверждать (о любом из нас, но в первую очередь – о самом себе), что, встречая нас, другой человек мог бы сказать: я вижу на его лице, я вижу в его глазах сияние какой-то жизни, о которой я не имею никакого представления, из него льется свет, который он называет вечностью, о котором я не имею представления, для которого у меня нет имени!..

И это бывает. Это бывает, когда встречаешь некоторых людей. Те, кто встречал Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Иоанна Кронштадтского и многих других, останавливались в оцепенении; они останавливались, потому что за их лицами прозревали нечто, чего раньше

¹² Марцинковский Владимир Филимонович (1889-1971), в конце 20-х годов выехал из Советского Союза.

¹³ Старец Силуан (1866-1938), афонский подвижник, в 1988 г. причисленный Константинопольской Церковью к лику святых.

никогда не видели. Один из английских писателей говорил: каждый раз, когда человек встречается верующего, он должен был бы посмотреть на него и воскликнуть: статуя стала живым человеком!.. Каждый из нас как бы каменное изваяние только – и тут каменное изваяние стало живым. Вот что могло бы быть, если бы из нас изливалась эта красота, этот свет. Мы не можем, разумеется, этого искать с тем, чтобы обращать других; но если мы искали бы своей вкорененности в Боге, то рано или поздно в той или другой мере это бы случилось.

Другой вопрос вот в чем: мы часто смотрим на инакомыслящего как на противника и в результате не видим его, мы видим в нем только врага. Я помню встречу в Лондоне, на которой выступал пастор Нимёллер¹⁴, глава Исповеднической Церкви в Германии во время нацизма. Он говорил немецким пасторам Лондона и Англии; я был приглашен, но он не знал, что я там был, и поэтому он говорил безотносительно к моему присутствию. Он говорил о своем опыте во время властвования Гитлера и между прочим сказал, что самое трагическое его воспоминание, то, за что он себя осуждает: за все время своей деятельности он никогда не подумал, что фашисты, противники христианства и его Церкви, были не врагами, а потерянными овцами стада Христова, что он был за них ответственен, что он должен был к ним идти, что это были дети Божии, потерявшие свой путь – и он забыл о них или, вернее, отнесся к ним только как к врагам. И замечательную вещь он прибавил; он сказал: Русская Церковь никогда не отделяла себя от тех, кто ее преследовал... Иллюстрируют эту мысль слова патриарха Алексия, которому я однажды поставил вопрос: как бы он определил Церковь; он мне сказал: Церковь – это тело Христово, распинаемое ради спасения своих мучителей... Вот подход; совершенно иной подход, конечно, совсем не практический, не политический, не воинственный подход.

И вот тут нам надо научиться еще чему-то: надо научиться вырасти в меру своего христианского человечества, – чего мы не достигли; мы ниже своего собственного уровня, несмотря на колоссальные дары, которые мы получаем. Ведь что мы получаем в причащении Святых Таин: Тело Христово вливается в нас, Кровь Христова бежит по нашим сосудам, человечество Христово соединяется с нашим человечеством, – и мы этого не замечаем, мы от этого не меняемся, оно проходит через нас и куда-то уходит от нас... И вместе с тем бывает, что даже без таинств присутствие Божие доходит до человека. Я вам хочу привести пример. Лет пятнадцать-двадцать тому назад пришел в наш храм в Лондоне англичанин. Он был просто безбожник; ему было поручено принести посылку для одной прихожанки; он очень вдумчиво рассчитал свой приход так, чтобы опоздать к службе и прийти после того, как все начнут расходиться. Но Господь судил иначе, и он пришел в храм, когда еще служба шла. Огорченный, он сел сзади ждать конца. И вот что он мне потом рассказывал. Он сел и стал ждать, чтобы кончилось “все это”; сначала он с нетерпением к этому относился, потом стал стихать и вдруг почувствовал, что в этом храме какая-то “густота”, присутствие чего-то. Он начал это объяснять: это дурман от ладана, это одурение от мелодий, которые пелись, это мерцание свечей, это коллективная истерика верующих, – он все понимал, конечно; и все-таки ему стало любопытно, и он у меня попросил разрешения прийти в храм, когда никого не будет, чтобы посмотреть, что тогда происходит. Он пришел, просидел два часа и потом сказал мне: знаете, это **Присутствие** все здесь; нет ни пения, ни ладана, ни мерцания свечей, ни верующих, а Присутствие есть... Он стал ходить и тогда, когда никого не было, и тогда, когда происходило богослужение, и через какое-то время сказал мне: знаете, я ходил довольно долго, потому что я думал: ладно, предположим, что это Бог; но что мне до вашего Бога, если Он просто живет в этом храме и никому от этого не легче; если это пассивный Бог, Который не меняет людей, Он мне не нужен... И вдруг оказалось, что, когда он глядел на верующих молящихся и особенно на тех, которые причащались, он видел на их лицах, хоть на мгновение, какое-то сияние, которого он никогда не видел нигде. Он мне сказал: я не знаю, делаются ли они окончательно лучше, но они делаются **иными**, иной тварью как бы; и мне надо стать иным, я хочу, чтобы вы меня научили и крестили... Я его приготовил и в свое время крестил.

¹⁴ Нимёллер, Мартин (1892-1984), пастор, известный церковный и общественный деятель Евангелической церкви в Германии.

Вот вам пример того, как Бог даже помимо таинств, просто Своим присутствием, тем, что Он есть, может действовать. Но и мы должны научиться как бы сквозь скорлупу другого человека прозревать образ Божий. Я помню священника во Франции, который мне раз сказал, что когда Бог глядит на нас, Он не видит наших несуществующих добродетелей или несуществующих успехов, Он видит в глубине нашего естества, спрятанный часто мишурой и грязью и потемнением, Свой собственный образ, сияющий, как свет во тьме. И вот **этому** мы должны научиться. Мы должны научиться глядеть на противника, на врага, и забыть, что он враг, что он противник, и видеть в нем образ Божий, икону: икону поврежденную, икону испорченную, икону, которую порой и узнать еле можно, – и **потому**, что она так испорчена, потому, что она так изгажена, ее пожалеть еще больше надо, чем если она была бы во славе. Икона во славе – да, мы ее почитаем; но икона, которая была попорана, прострелена, икона, которая была затоптана, – с каким благоговением мы должны к ней относиться. Это святыня, которая человеческой злобой осквернена; так и человек, который не знает, что он икона, а мы должны бы это знать. Знаем мы это? – едва ли; во всяком случае, это далеко не всегда видно в наших взаимных отношениях, не только по отношению к инакомыслящим, но даже к нашим близким друзьям. Мы забываем это, мы видим только то, что человек труден, а что он святыня – нет, редко помним.

И вот теперешняя проблема для вас, как для нас на Западе (конечно, есть громадная разница в подходах, в ситуациях), центральная, реальная проблема та, что мы должны **поверить в человека** верой такой же, какой мы верим в Бога, такой же абсолютной, решительной, страстной, и должны научиться прозревать в человеке образ Божий, святыню, которую мы призваны привести обратно к жизни и к славе, так же как реставратор призван вернуть к славе икону испорченную, затоптанную, простреленную, которую ему дают. Это начинается с нас самих, но это должно тоже быть обращено к другим; и к другим христианам, которых мы так легко судим, и к нашим самым близким, дорогим. И к инакомыслящим.

Ответы на вопросы. Часть 1

Прокомментируйте слова святых Отцов: люби грешника, но ненавидь грех; люби врагов, но личных, а не врагов Бога и Церкви...

Первое я узнаю как слова Отцов Церкви, второе – как слова, которые мне сказал в свое время теперешний глава Зарубежной Церкви; он именно этого придерживался.

Если мы рассматриваем грех как несчастье, как болезнь, конечно, надо любить грешника, как мы любим больного и ненавидим его болезнь. И этим, в сущности, исчерпывается мой ответ. Если человек заболел чем бы то ни было, мы можем ненавидеть болезнь, мы можем раздражаться душой о том, что человек стал жертвой такой болезни; но его мы не можем ненавидеть, даже если он виноват. Даже если болезнь – результат его распутства, все-таки человека жалко, потому что он не для того был создан и не к тому был призван.

Что касается до ненависти к врагам Божиим и к врагам Церкви – это очень рискованная постановка вопроса. Рискованна она тем, что очень легко называть всех своих врагов врагами Церкви и врагами Божиими. В спорах и политических разногласиях так легко считать, что я на стороне Божией, а кто со мной не согласен – тот на другой стороне.

Нет ли опасности подмены: любовь к добру ценить больше, чем любовь к Богу?

Конечно; но тут может быть и самообман, потому что говорить: я люблю Бога, а добро – дело второстепенное, – может оказаться поверхностным подходом. Легко уходить в псевдомистику, вместо того, чтобы быть реальным христианином. Третий вопрос в этой записке касается определения апостолом Павлом синагоги как сатанинской. Это писалось в период, когда было резкое противопоставление между молодой, растущей христианской общиной и синагогой, ветхозаветным храмом. “Сатана” – слово еврейское и значит “противник”. Так что речь шла не о “чертовщине” в нашем понимании, а о том, что эта община противна всему тому, чему учили апостолы. Поэтому мы не должны улавливать в этих словах оттенка ненависти или отвержения; мы должны быть очень осторожны, когда читаем некоторые тексты.

Собору¹⁵ было передано послание от группы священников и мирян касательно соборного положения Церкви. Каково было отношение к этому документу?

Документ как таковой не зачитывался полностью, но и без него вопрос о соборности обсуждался внимательно и вполне ответственно. У всего Собора, который состоял из епископов (то есть, если позволительно так выразиться, из тех людей, у которых обычно меньше всего понятия о соборности, потому что они привыкли давать распоряжения, а не советоваться с другими; я – один из них, поэтому я могу смело говорить с такой наглостью) было сознание, что – да, одно из несчастий жизни Русской Церкви в том, что мы утратили способность советоваться, прислушиваться друг ко другу и высказываться с полной откровенностью, с правдивостью; разумеется, было и сознание, почему это произошло. Мы также утратили способность слушать **мысль** того, кто говорит, а не только его слова, и иногда понять больше, чем он умеет выразить; ведь не всякий является выдающимся оратором и умеет выразить с большой ясностью, четкостью мысли, роящиеся у него. Мысль о соборности должна проходить через всю Церковь; она должна проходить, во-первых, среди мирян в неорганизованном виде, то есть миряне, обсуждая между собой свою церковную и нецерковную жизнь, должны научиться **говорить** между собой, а не спорить, – а это очень русская черта. Второе: когда вместо случайного спора вокруг чайного стола люди встретятся на приходском совете (даже если там подан чай), надо научиться слушать и говорить с целью не только друг друга понять, но также с учетом того, что собой представляет Церковь: что мы строим. Строим ли мы практическую человеческую общину, которая может быть верующей, неверующей или какой угодно, или мы строим Церковь. Дальше: приходские советы должны соединиться в епархиальные советы, где тот же самый подход. И на всех уровнях (и вот тут требуется как бы двоякое воспитание) нужно, во-первых, чтобы люди научились быть серьезными, правдивыми, понятливыми друг с другом, но также – и это очень важно – чтобы они понимали, что они строят **церковь**, а не просто человеческое общество. Мы в Англии над этим работали пять лет, составляя Устав для Сурожской епархии. Мы изучили сначала догматическое учение о Церкви, потом древние каноны Церкви, потом решения Собора 1917-1918 года, потом Уставы, существующие в Поместных Церквях, и наконец, выработали Устав, который является выражением учения о Церкви в действии. Вот к чему надо стремиться. И для этого не нужна особенная богословская ученость; потому что каждый из нас, если он верующий, если в нем живет Евангелие, если в нем живет Христос, в меру своей воцерковленности должен быть в состоянии что-нибудь сказать, внести свой вклад. Если у него нет слов – принести молитву, если у него нет молитвенных слов – благоговейное отношение к тому, что он делает; и вот так может строиться соборность. Она должна так же строиться в среде епископов; и сейчас я был поражен, насколько она выросла. Я был на Соборах раньше, помню очень ярко Соборы 1971 и 1988 годов; я вижу, как шаг за шагом растет эта соборность, это желание взаимного понимания, взаимного соучастия, взаимного дара своего знания и опыта; и я думаю, что это даст свои плоды. Есть одна трудность: Церковь была лишена в течение страшно долгого времени этого реального опыта; этому надо учиться, и научиться этому сразу – нельзя, это ощупью, постепенно создается. В Англии мы это ощутили, когда я сначала стал вводить собрания священников, потом приходские, потом епархиальные собрания, – нам очень долго пришлось работать над тем, чтобы выработать общий разум и общее сердце; но над этим надо трудиться, и это **будет достигнуто**.

Владыко, поскольку Вас Господь призвал уже в сознательном возрасте, наверное, для Вас вставал вопрос, какой Церкви принадлежать. Почему Вы выбрали Московскую юрисдикцию в то очень трудное для Русской Православной Церкви время?

Я начну, может быть, этапом раньше и скажу, что из всех возможностей я выбрал **православие**. И не только потому, что я был крещен православным, и самотеком было естественно так сделать; но потому, что меня поразила точная и очень меня изумившая созвучность между простотой, цельностью, прозрачностью, свободой Евангелия и Православия. Я ощутил и тут, и там ту же стихию; они были созвучны, как два звука, которые могут слиться в один аккорд. Из опыта других Церквей, которые мне пришлось тогда видеть, у меня было чувство,

¹⁵ Архиерейский собор 9–11 октября 1989 г., проходивший в рамках празднования 400-летия установления патриаршества в русской Православной Церкви.

что они у же, мельче или чем-то непохожи на то, что я пережил, читая Евангелие. Разумеется, это субъективная оценка; это не значит, что она неверна, но таково было мое личное побуждение.

Что касается до Московской Патриархии, то нас была тогда очень небольшая группа людей, которая это решение приняла на очень простом основании: пока Церковь не исповедует ересь, от нее не отделяются; такой церковный подход. Другой подход: Церковь, которая находится в трагическом положении, не должна быть покинута своими детьми. Это не был просто иной или не относящийся к делу подход. Мы ничего, конечно, для Русской Церкви сделать не могли: нас было человек пятьдесят на Западную Европу, мы вообще никакого значения не имели. Но мы чувствовали: этим мы свидетельствуем, что Русская Церковь есть Церковь – святая, **наша, Христова** – и этого было достаточно.

В этой первой группе, насколько я помню (мне было тогда лет семнадцать), были люди самых различных политических, общественных направлений: и это никакой роли не играло. Люди шли в Патриаршую Церковь, не потому что у них были те или другие общественные или политические убеждения; они шли, потому что она – Русская Церковь, она ничем не изменила Христу, и мы хотим стоять рядом с ней или быть в ней. У нас было чувство, что она нас держит и несет на своих руках (и до сих пор это чувство есть).

С тех пор прошло сорок с небольшим лет; люди уже иные, и ситуация изменилась. В Америке, в Соединенных Штатах сейчас приблизительно пять миллионов православных, из которых коренных русских, тех, для кого Россия – родина, очень небольшое число. При таком количестве православных, с одной стороны, при таком малюсеньком проценте русских – с другой, совершенно естественно, что Церковь, которая началась как русская, стала теперь Американской. Но она стала автокефальной Церковью, законной, истинной Церковью Америки не в порядке откола или отречения; она стала независимой Церковью так, как, например, дочь, ставшая взрослой, выходит замуж и начинает свою семью, как юноша не остается подопечным без конца. Это совершенно другая тема.

В момент русских расколов двадцатых-тридцатых годов вопрос совсем не стоял о том, чтобы создать поместную Церковь Франции или чего-то там; отмежевывались от Русской Церкви либо потому, что она воспринималась как нецерковь, либо потому, что **легче** было жить без нее; и ни ту, ни другую причину я не мог воспринять. Восприятие Русской Церкви как нецеркви заходило очень далеко. Скажем, лет двадцать тому назад я разговаривал с настоятелем карловацкого прихода в Лондоне и спросил его: “Что Вы думаете обо мне, что я такое для Вас?” И он мне ответил: “Если бы я не хотел Вас обижать, я бы Вам сказал: Вы просто не священник, но я Вам прямо скажу, что я думаю: Вы – священник сатаны, потому что вы приняли рукоположение от Московской Патриархии...” Надо понять, до какой степени доходило отрицание. И когда люди со стороны нам говорят: почему вы так разделены, почему вы не общаетесь, почему у вас нет большего единства с теми или другими людьми? – попробуйте-ка иметь единство при такой установке. Если бы он мне сказал, что считает меня плохим человеком, я не возражал бы; я себя лучше знаю, чем он, и согласен с ним. Но признать, что я не священник или что я священник сатаны, то есть, что таинства, которые я совершаю, в лучшем случае – ничто, а вероятнее – кощунство, и что моя проповедь есть проповедь антихриста, **я не могу**, потому что у меня есть своя совесть, и я себя внимательно проверяю в том, что говорю. Я могу ошибиться в чем-то, это дело другое, но я не проповедую Евангелие иное, чем Христово.

А другая установка: “Пусть они живут своей жизнью, а мы будем строить свою жизнь без помехи”, – мне и не только мне, а многим из нас казалась жесточайшим и уродливым отношением; потому что, как я уже сказал, **сделать** для Русской Церкви мы ничего не могли, но отколоться значило перед лицом всех сказать: оставьте ее, она сомнительна, с ней что-то неладно... – это так воспринимается. И этого никто не имел права делать. Я считаю, что те, кто в двадцатые-тридцатые годы отошли от Патриаршей Церкви в этом порядке, – изменили какой-то и церковной, и человеческой правде. Те люди, которые говорили, что наша иерархия, митрополит Сергей или кто-то другой не прав в своей церковной политике, – и те могли бы сказать: да, мы не согласны с тем, что он делает, но мы не осудим и не отступимся от него... Прав он был или не прав – в лучшем случае могли судить люди, которые были в России, но уж никак не мы, которые были за

границей... Если я недостаточно честен и правдив, то это вина не Русской Церкви, а моя вина; если я делаю ошибки, то это **мои** ошибки, – они никем не навязаны мне. В момент, когда окончилась гражданская война, за границей оказалось приблизительно пять миллионов русских; если бы пять миллионов составили одну Церковь, наше свидетельство могло иметь значение. А когда в Патриаршей Церкви остались какие-то пятьдесят человек на Трехсвятительском подворье в Париже, и человек тридцать в Берлине, и шесть человек в Ницце – да, действительно, свидетельство было очень трудное. Но это было свидетельство о **радикальной** церковности, не о политической приспособляемости. Люди были глубоко разные: были монархисты, был Бердяев, была мать Мария, были люди средние всех направлений – и мы были **совершенно** едины в любви к родной Церкви и в такой оценке: пока Русская Церковь не исповедует ереси, мы ей принадлежим.

Означают ли Ваши слова то, что Русская Православная Церковь, действующая в нашем атеистическом государстве, символ распинаемого тела Христова ради спасения своих мучителей, должна молчать и соглашаться, а не призывать вдуматься, сказать правду воистину, а не на словах, и дать свет Христов верующим и неверующим? Как возможно дальнейшее сосуществование с марксистско-ленинской идеологией, возведенной в ранг государственной?

Я думаю, что в России соотношение мира и Церкви, конечно, гораздо более острое, чем в других странах, на Западе, потому что существует одна партия, которая “исповедует” атеистическое учение. Но при новом положении, при осторожном, вдумчивом отношении, сосуществование двух несовместимых идеологий могло бы привести к диалогу. Как я раньше говорил, если бы мы научились смотреть на противника не как на врага, а как на человека, имеющего в себе образ Божий, которого он сам не обнаружил и не раскрыл, если бы мы научились говорить не против, а **выше** его, были бы готовы учить примером, учить тем, что мы **иного** рода люди, которым хотелось бы подражать, тогда мы могли бы нечто сделать в этом отношении. Я думаю, что Русская Церковь на самом деле и сейчас делает очень многое для того, чтобы открыть новые храмы и сделать возможным то, что было невозможно раньше. Я думаю также из опыта других обстоятельств (я, например, три года с лишним работал во Французском Сопротивлении во время немецкой оккупации), что очень важно сегодня сделать всё возможное, а не пытаться делать невозможное... Но если делать исчерпывающе возможное теперь, то через день делается возможным то, что мы не могли делать вчера. Я совсем не хочу сказать, что всё делается идеально, но из того, что я видел, слышал, из большого количества разговоров с отдельными людьми, мне кажется, что делается гораздо больше, чем на поверхности видно.

Сейчас на Западе и у нас уже приходится слышать голоса о том, что Православие в России вновь становится государственной религией. Как Вы относитесь к этому утверждению?

Я думаю, что до этого, слава Богу, очень далеко. Одно дело, что государство убедилось, что можно быть христианином или, в широком смысле, верующим (я сейчас думаю и о мусульманах, и о буддистах) и вместе с тем быть верным сыном своей родины. А каждый раз, когда какая-либо церковь представляет собой подавляющее большинство верующих, отношения этой церкви и государства делаются, конечно, более тесными и сложными. И одна из задач церкви, опять-таки, и на Востоке и на Западе, заключается в том, чтобы не становиться частью политической или общественной системы, а наоборот, будучи до конца лояльной, то есть желая самого большого добра родине, предупреждать общественность о том, что есть другое измерение в жизни, – не только общественно-политическое, что есть в жизни **глубина**.

Пожалуйста, еще о жизни карловчан на Западе. Повинны ли они и в какой степени в том, что произошло в России в двадцатые-тридцатые годы нашего столетия?

Карловчане – кличка, которая прилипла к группе православных русских иерархов и их пастве, которые в двадцатых годах отреклись от Московской Патриархии, создали свое церковное управление и до сих пор нас считают неприемлемыми. Среди них есть разные течения, более или менее крайние. Вот, я уже упомянул реакцию на меня их священника в Лондоне много лет назад. Это одна крайность, и с этим надо считаться. Другая группа, гораздо более умеренная, относится к

нам иначе; они считают, что сами не могут быть в Московской Патриархии по опасению, что на них будет влиять советская власть через Церковь, но относятся к нам, как к Церкви, с уважением. Например, советуют паломникам или туристам, которые приезжают в Россию, общаться и приобщаться. И есть бесконечное множество оттенков.

В 1925 году произошло очень несчастное событие на соборе в Сремских Карловцах, когда собравшиеся иерархи, духовенство и миряне, среди которых была очень крепкая, деятельная группа политических активистов, обратилась к тогдашней Лиге Наций с просьбой о военной интервенции в Советский Союз для восстановления монархии. Это сыграло очень трагическую роль, потому что Церковь в Советском Союзе была поставлена под удар: “Вот что ваши же иерархи, ваши же миряне, ваши же священники делают, – призывают иностранцев на покорение нашей земли ради восстановления того государственного строя, к которому они привержены...” Это, думаю, было несчастное и губительное событие, которое сыграло роль в обострении отношений между властью и Церковью. Я не хочу сказать, что **этим** все было обусловлено, но это послужило **поводом** и доказательством того, что, как кто-то сказал владыке Василию Брюссельскому¹⁶, “всякий из вас, как редиска, – красный снаружи и белый изнутри...” Раз уж мы говорим о карловчанах, я хочу сказать еще одно: не надо слишком легко и ожесточенно о них судить. Те русские, кто выехал из России в 1919 году и несколько последующих лет, покинули Россию при крайне трагических обстоятельствах: потеряв все. Я говорю не о имуществе, а о родных, о родной земле, о праве называться русскими, – потому что декретом советской власти у нас было отнято гражданство. Поэтому неудивительно, что это поколение преисполнено болью; и вы знаете, что боль может сделать. Зверь, которого вы раните, может вас разорвать; люди, которые испуганы и измучились душой, могут ожесточиться.

И поэтому, хотя я никогда не принадлежал к этой группе, всегда с семнадцатилетнего возраста был в Московской Патриархии, когда наши приходы обособились от всех разделений, я не могу относиться к карловчанам (несмотря на то, что цитировал вначале) без чувства глубокого сострадания. Сейчас, например, в Лондоне мы окормляем многих карловацких старых людей, которых их духовенство не окормляет, потому что их настоятелю девяносто лет, а его помощники не говорят на русском языке. И пока прихожане здоровы, живы, бодры, они ходят к себе в храм, а когда их жизнь ломает, они звонят нам, говорят: “Помогите!..” Сейчас такая чересполосица между ими и нами, а было столько боли, которая объясняет и ожесточение, и страх.

От редакции

Действительно, на протяжении многих лет митрополит Антоний призывал священноначалие Московской Патриархии отнестись к русской церковной группировке за рубежом с пониманием и снисхождением, адресовать ей не требования безоговорочного покаяния, а материнский призыв к воссоединению. Ныне, однако, ситуация перевернулась: Зарубежная Церковь сама требует публичного покаяния от Православной Церкви в России, диктует свои условия, заявляет свои права. Когда готовился к печати этот материал, прозвучал ответ митрополита Антония – слово, сказанное им 12 мая 1991 г. в религиозной программе Би-би-си: “Я с большим волнением слышу, что в данное время наши верующие в России вместо того, чтобы соединяться, начинают раскалываться или восставать один против другого. В частности, я с большой сердечной болью узнал, что Русская Зарубежная Церковь, которая откололась от Московской Патриархии много лет тому назад, в двадцатые годы, считает, что Россия является ее законной территорией и что Русская Патриаршая Церковь, которая перенесла десятилетия гонений, страданий, является раскольническим образованием. В защиту желанья присоединиться к Зарубежной Церкви всегда приводится довод, что Русская Православная Церковь на родине много раз поддавалась разным соблазнам, подчинялась государству, дала себя унижить, дала власть над собой враждебным силам. Но при этом, осуждая митрополита Сергия и его Декларацию, осуждая отдельных лиц в среде епископата или духовенства, или огульно упрекая Русскую Церковь в компромиссе, забывают, что Русская Церковь за рубежом, та, которая не признавала Московской Патриархии, тоже пошла на

¹⁶ Василий (Кривошеин, 1900-1985), архиепископ Бельгийский и Брюссельский (Московский Патриархат), выдающийся ученый, исследователь и переводчик святоотеческой литературы.

компромиссы, на какие ни один человек в России не пошел бы. Я имею в виду сейчас, что в начале войны митрополит Анастасий, глава Зарубежной Церкви, обратился к Гитлеру с письмом, где называл его богоданным вождем народов, который освободит Россию от коммунизма. Многие из их сторонников шли против нашей родины; если можно говорить о том, что Русская Православная Церковь была связана с судьбой России, то можно сказать также, что Зарубежная Церковь десятилетиями восставала против нее. В Париже во время оккупации были ежедневные молебны о победе немцев. Можем ли мы считать, что эта Церковь больше, чем наша родная Церковь, была свободна от политического вмешательства? Но это частный вопрос, и в нем люди разберутся постепенно. За ним стоит другое, гораздо более важное. Стоит вопрос о том, что, не будучи в силах разбить верующих в Советском Союзе, все вероненавистники сейчас стараются их расколоть на отдельные группировки, противопоставить одну другой с тем, чтобы ослабить каждую из них. Это касается не только отношений Русской Патриаршей Церкви и “зарубежников”, но и так называемой “катакомбной Церкви” и других верующих, которые обособились для того, чтобы, не прикасаясь к государственному аппарату никаким образом, продолжать хранить свою веру и ее проповедовать. Все верующие должны сознать, что единственная возможность им проповедовать Христа неразделенного, это проповедовать Его одним голосом, одним сердцем, одним умом. Там, где между нами есть разногласия, они должны бы быть разногласиями между братьями, – не между Каином и Авелем! – которые друг друга признают за братьев и хотят вместе обсудить общие проблемы, вместе найти верный, безусловно верный путь Христов и достигнуть вместе того, что апостол Павел называет умом Христовым (1 Кор. 2, 16).

Ответы на вопросы. Часть 2

Чья воля, Божественная или дьявольская, почти уничтожила Святую Русь? Ведь Россия называлась Святой Русью, в Москве было сорок сороков церквей, она была насыщена благодатью, которую излучали из себя верующие...

Каждая страна выбирает какое-нибудь выражение, которым она себя характеризует; но это выражение не обязательно описывает то, что есть на самом деле, а то, что является ее идеалом и устремленностью. Так, Франция себя называла *La France tre s-chre tienne*, немцы настаивали на *Deutsche Treue*, верности немецкой; Россия говорила постоянно о **Святой Руси**. А вот в какой мере она была свята и в какой – в борении, всецело ли она была устремлена к этому – и не осуществила своего осознанного призвания, мы можем видеть просто из русской истории: там на редкость сгущены и святость и ужас. Одна из коротких, ясных, ярких картин того, что бывало, это рассказ Лескова под названием “Чертогон”, где мы видим человека и верующего, и благочестивого, на которого находит действительно **“черт знает что”**, именно не в ругательном, а в прямом смысле. И тогда он беснуется и, перебесившись, вдруг возвращается к Богу – и обратно идет к прежнему. Это в общем для русской истории очень характерно, и все время постоянно красной нитью проходит.

Что касается до воли Божией и воли человеческой... Еще отцы Церкви в древности говорили, что история определяется тремя волями: волей Божией, волей бесовской и волей человеческой. И они указывали на то, что воля Божия – всемогущая, всегда благая – сама себе положила пределом человеческую свободу. Воля бесовская – **всегда** злая и далеко не всемогущая, но она может действовать в мире, подчинив, поработив себе обманом или насилием человеческую волю. А человеческая воля, как маятник, колеблется между волей Божией, которая ее призывает, и волей бесовской, которая ее соблазняет. Со стороны Божией оставляется свобода, со стороны беса никакой свободы не оставляется. И история определяется на земле **как будто** человеческими решениями; на самом деле – только тем, насколько эта человеческая воля приобщилась в **данном** случае к воле Божественной или к бесовской воле, энергиям Божественным или энергиям мрачного мира. В истории израильского народа это минутами очень интересно, ясно представлено. Например: поколениями вождями Израиля были святые, люди, которых Сам Бог выбирал и ставил в руководство Своему народу. Это были патриархи, судьи, пророки. Так было до какого-то момента. Этот момент мы находим в книге Царств, когда еврейский народ просит

составившегося Самуила поставить им царя, как они говорят, для того, чтобы быть как все другие народы. Именно: чтобы уже не рисковать тем, что Бог будет руководить, (а вдруг не станет?!), чтобы обеспечить себя от мнимой случайности воли Божией. Самуил отказывается, но народ настаивает; и, обратившись к Богу, Самуил в молитве получает ответ: “Дай им царя, – они не тебя отвергли, они Меня отвергли...” И волей человеческой поставлен царь: самый трагический царь всей человеческой истории, Саул. Потому что этот человек поставлен на то место, где может стоять только Божий избранник; тогда как он является избранником человеческим. И Саул сходит с ума на этом месте... Здесь мы видим, как две воли встретились и человеческая воля накренила всю судьбу Израиля в сторону земли: “*Будем как все...*” Другой вопрос – что случается с отдельной человеческой личностью при этом – слишком большой, чтобы на него в несколько минут ответить, но в истории человеческой есть этот момент: страшной, колоссальной ответственности человека, потому что человек в судьбу вселенной вносит либо Божию, либо бесовскую волю.

Дальше: когда человек это сделал, Бог не остается безучастным; Бог борется за спасение людей, за то, чтобы не погубило мироздание, которое Он вызвал из небытия для вечной славы. И то, **как** Бог борется за это мироздание, бывает иногда для нас очень страшно, потому что, как только мы предаемся сатане, как только мы делаемся землей и плотью, Он разбивает все, что есть земля, плоть, благополучие, обеспеченность, потому что важны **спасение и вечность**. Не в том смысле, что Богу **дела нет** до нашего счастья, но наше счастье иногда является отравой и опьянением. В древности говорили: “Бог **посетил** нас”. Это значило: трагедия вошла в нашу жизнь взамен мертвой, спокойной обеспеченности, которая является широкой дорогой, ведущей во дно ада, о чем говорил Христос. Пока это все, что я могу ответить.

Что Вы можете сказать об экуменическом движении, о его положительных и отрицательных свойствах, а также о Вашем отношении к нему?

Я в экуменическом движении работал очень долго и много, и у меня к нему двоякое отношение. С одной стороны, экуменическое движение имеет очень положительные стороны. Оно позволило христианам, то есть людям, которые искренне, серьезно верят во Христа и часто всей душой, всем убеждением живут по-христиански, – встретиться, обнаружить все то общее, что у них есть, обнаружить все то, что их разделяет, и, несмотря на это, начать друг друга не корить, а уважать и обмениваться опытом, причем не только отрицательным, и не только полемически, а обнаруживать, что за столетия разделений каждая группа христиан (потому что она настаивала на том или на другом, может быть, преимущественно и неуравновешенно) продумала и пережила то или другое глубже и больше, чем другие. В этом отношении встреча обогатила все вероисповедания хотя бы взаимным уважением и любовью.

Отрицательная сторона в том, что большинство участников экуменического движения, которые принадлежат протестантскому миру, думают о воссоединении Церквей на минимальной базе, тогда как Православная Церковь о минимальной базе не может и говорить, мы можем говорить только об интегральном принятии Евангелия, – не о каком бы то ни было приспособлении евангельского учения к современным взглядам, которые менялись бы с каждой современностью.

Но, так или иначе, было сделано много положительного. Одно очень важное решение было принято в Лунде¹⁷ много десятилетий тому назад: чтобы христиане делали сообща все то, что они могут по совести делать вместе, и не делали вместе только того, чего они не могут по совести вместе делать. Это открыло возможность очень многое делать в области милосердия, помощи нуждающимся, медицинской помощи, в области образования и т.д., вещи, которые не конфессиональны, а общечеловечны. Мы можем это видеть на примере того, что протестантские церкви обещивают православный мир и Священным Писанием, и молитвенниками без всяких условий и без всяких изменений в тексте тех Писаний, который они нам дают. В этом – братское отношение.

¹⁷ Имеется в виду Конференция Комиссии Всемирного Совета Церквей “Вера и Церковное устройство” в Лунде (Швеция) в 1952 г.

Как я говорю, мы не можем пойти дальше какой-то линии; но даже тогда, когда мы очень сурово судим о других вероисповеданиях, мы должны помнить, что если мы называем какое-нибудь исповедание еретическим, мы этим же утверждаем, что оно все же христианское; ведь для того, чтобы быть еретиком, надо быть христианином. Мы не говорим, что буддист, мусульманин или язычник – еретик, он просто язычник или мусульманин или буддист; мы должны помнить, что экуменическая встреча происходит внутри очень сложного комплекса христианской семьи. Один из наших епископов, который в свое время был католиком и стал православным, Владыка Алексей ван дер Менсбрюгге¹⁸, говорил, что ему представляется так: горит свеча; Православная Церковь – это самое пламя, но от этого пламени распространяется свет и тепло дальше, и это – те вероисповедания, в которых еще осталось и тепло и свет христианства, хотя они больше не горят этим пламенем в полной чистоте.

Как Вы относитесь к иеромонаху Серафиму Роузу?

На две трети отрицательно, на одну треть – безразлично-положительно. У меня впечатление, что он апокалиптик и страшно узок в своих взглядах, и я не радуюсь, когда мои прихожане его читают с упоением. У него нет трезвости; у него восторженность, он видит вещи в апокалиптическом свете, я бы сказал, вполне нереально. Таково мое мнение; я его высказываю с полной резкостью именно потому, что это мое личное отношение.

Простите за грубый вопрос: есть ли у Флоренского еретическое?

Это вопрос не грубый, но он адресован не тому, кому надо; я не читал полностью Флоренского – это раз. Во-вторых, я аллергичен к Флоренскому. То, что я читал, до меня не доходит, у меня делаются судороги от него в значительной мере. Он вызывает у меня чувство такой приторной сентиментальности, которой я не могу вынести; поэтому лучше спросите другого.

В одинаковой ли мере служат иконы делу спасения, если одна из них написана по древним канонам, а другая просто напечатана в типографии?

Существуют два совершенно различных направления среди верующих. Некоторые – а может быть, и все иконописцы считают, что икона не только должна быть написана по канонам, но пронизана благоговением и молитвой и освящена в церкви, и что икона, воспроизводимая искусственным образом, в этом отношении чего-то лишена. Меня бесконечно радует, что, вопреки суду опытных иконописцев, на Руси столько чудотворных икон, которые любой знающий иконописец назвал бы плохими иконами, что Бог Свою благодать соединяет не с совершенством иконописного искусства. Как через нас, людей несовершенных, передается другим благодать, так и через несовершенное человеческое произведение Бог доносит благодать до людей. Я не сомневаюсь в том, что бумажная икона – надорванная, заклеенная, приделанная к дощечке или клейкой бумаге, изображающая Спасителя, Божию Матерь или кого-то из святых, является святыней в самом сильном смысле этого слова (так же, как каждый из нас является образом Божиим, как бы мы ни были изуродованы грехом и несовершенством). И икона, в моем глубоком убеждении, делается такой святыней не потому, что ее писали так или иначе, а потому что она взята, положена на святой престол, окроплена святой водой; в древности иконы еще миропомазывали так же, как миропомазывают христианина после его крещения, – и она тогда входит в тайну Церкви и благодати. Я вам сейчас выразил свое глубокое убеждение; я не утверждаю, что прав, но я с благоговением храню бумажные иконы, доставшиеся мне от матери или от людей, которых я любил, и я не вижу в них разницы в этом отношении. Но я не настолько невежествен, чтобы не понимать, что икона, написанная по канонам, не только как бы фокусирует благодать, является центром излучения, – она является тоже поучением; но это другая тема.

Как Вы думаете, иконопись сегодняшняя, иконы, которые пишутся сейчас, вполне несут то же самое духовное содержание, каким была полна старая иконопись? Возможно ли

¹⁸ Алексей (ван дер Менсбрюгге, 1899-1980), православный архиепископ, занимал разные кафедры в Западно-Европейском экзархате и в Америке; ученый, литургист, канонист.

иконописное творчество? Я знаю, что на Западе есть попытки в этом направлении, вот Успенский...¹⁹

Видите, я не знаток, я очень мало знаю. Мое знание об иконах я получил от Успенского, с которым я был в одном приходе в течение лет двадцати. Я думаю, что творчество всегда возможно, но никогда нельзя выдумывать икону. Равновесие, о котором мне говорил Успенский, можно формулировать так: нельзя рабски **копировать**, но нельзя и выдумывать... Икона является выражением религиозного опыта Церкви, который воплощается в одной творческой личности. Но копировать рабски чужой религиозный опыт нельзя; вы не можете до такой степени стать другим человеком, и это было бы даже нежелательно. С другой стороны, нельзя выдумывать религиозный опыт, поэтому нельзя сесть и сказать: “Ну да, писали так, – а нет ли каких-нибудь новых путей?” Для этого нужно, чтобы был новый религиозный опыт, причем церковный, а не частный, не то что “мне Бог так представляется”. Поэтому можно сказать, что определенный период – скажем, Рублев – довел икону до изумительного совершенства; но я думаю (это я говорю, и не Церковь, и не Успенский), что, может быть, когда-нибудь откроется другая форма выражения, другая манера выразить те же истины. Византийская икона, мне кажется, решила вопрос, который она себе ставила, изумительно хорошо; но нет ли других путей – я не знаю.

Вот аналогия, которая мне легче, чем иконопись. У нас есть византийская литургия в ее совершенстве; но был период, когда существовали западные православные литургии, столь же православные, хотя по форме иные, потому что они родились в другой культуре и из среды других людей. Поэтому я допускаю теоретически возможность, что такое может случиться и в иконописании, хотя в данное время ничего подобного не случается; попытки добиться какой-то новизны относятся к области фантазии, а не к области религиозного опыта.

Если сравнивать икону и картину – у каждой свои преимущества, в зависимости от того, о чем вы говорите и что хотите сказать. Картина дает изображение того, что этот наш тварный мир на сей день содержит: добро и зло, свет и тьму, борение – и победу и поражение, совокупность всего, включая и неудачу, и становление, и двусмысленность. В этом смысле охват картины шире, чем охват иконы, потому что икона исключает целый ряд вещей. Икона не старается дать картину становления зла; вернее, когда зло присутствует в иконе, оно приражается добру (скажем, дракон на иконе Георгия Победоносца), но это олицетворенное зло, которое ясно присутствует, оно не пронизывает вещи так, как двусмысленность может пронизывать их в картине. Из иконы исключено очень многое. Но зато в ней очень ясно присутствует божественное, вечное измерение, абсолютное измерение. В этом смысле она дает больше, чем картина. Но я не думаю, что справедливо было бы сказать: или – или. Если вы держите картину в храме вместо иконы, вы делаете ошибку, потому что она не на месте; но как прозрение в действительность вещей и картина имеет свое место. И когда я говорю о картине, то же самое можно сказать и о всех проявлениях в порядке искусства.

Но и попытки оставаться в каноне тоже вроде бы не ведут к сохранению старой иконы, получается нечто анемичное, репродукция, а не икона. Тут проблема, которая перед верующим художником может стать. Икона значительно превосходит по глубине, по возможности всякое творчество, секулярную живопись, и в то же время она остается недоступной, как сегодняшний путь.

Видите, мне кажется (я говорю из своего безумия, а не из своего какого-то опыта или знания), что с каноном или с классическими иконами дело обстоит так же, как с музыкой. Человек учится на великих произведениях и развивает свой вкус, свое восприятие, технику до момента, когда, вместив в себя все, он ненамеренно начинает творить, – не с целью написать музыку иную, чем музыка Бетховена или Моцарта, а просто потому, что он воспринял все, что мог получить от прошлого, и изнутри этого прошлого вырастает нечто новое. Мне кажется, что когда молодые художники (я сейчас думаю о Западе) делают попытки написать иконы, которые были бы “современны”, они поступают, как люди, которые, не учась музыке, не пройдя через строжайшую дисциплину произведений прошлого, хотят творить что-то новое.

¹⁹ Успенский Леонид Александрович (1902-1987), иконописец, богослов; автор капитального труда “Богословие иконы Православной Церкви” (Париж 1989).

У нас есть ряд иконописцев; наиболее талантлив был отец Григорий Круг²⁰ (это мнение Успенского, так что я могу спокойно это сказать), затем Леонид Успенский; и затем их ученики, из которых одни пишут очень хорошие репродукции, а другие начинают что-то творить, то есть иконой живут. Жена отца Михаила, нашего регента, училась у Успенского и сама обучила иконописи целый ряд молодых людей и девушек вокруг себя. Двое, я бы сказал, начали писать иконы, которые очень поражают... они живут. Они написаны по канону, но изнутри опыта, это не попытка просто перерисовать что-то.

В Древней Руси считалось, что быть иконописцем — это целый аскетический, морально-созерцательный путь. И слишком много людей сейчас на Западе среди неправославных берутся за иконы и пишут иконы промеж дела; то есть они пишут и портреты, и картины, и иконы, и считают, что православное творчество, русское и других православных стран, отжило, потому что оно не укоренено в их культуре. Но, к сожалению, культура-то западных стран оторвалась от православного мирозерцания и опыта так давно, что из культуры, которая началась с Ренессанса, нельзя творить икону. У нас есть самоучка-испанец, который начал писать иконы и теперь даже школу открыл. Первая моя встреча с ним была не очень удачна. Пришел он ко мне и сказал: “Вот, мне предлагают купить две иконы, и я не знаю, стоит ли их покупать. Можете ли вы мне сказать, что вы о них думаете?” Я взглянул и говорю: “Выкиньте вон — дрянь!..” Он встал и сказал: “Простите, это моя работа!” Я ему ответил: “Сам виноват, не обманывай...” Это действительно было нечто несосветимое. Он и рисует хорошо, и краски кладет хорошо, только в совокупности это была попугайщина какая-то, и на такой предмет молиться невозможно, потому что он выдумал; он взял образцы и “улучшил”. Он считал тогда (не знаю, как он теперь считает, потому что второй раз он ко мне не появился), что Рублев, Феофан и т.д. примитивны, мы развились с тех пор. Но есть люди, которые пишут изнутри молитвенной традиции, а не изнутри техники.

Что вы думаете о взаимоотношении христианства и культуры?

Я не специально культурно устремленный, культурный человек, но мне кажется, что просто отстранить культуру или ее ставить под вопрос — нереально, потому что все формы даже нашего духовного бытия в значительной мере культурно обусловлены.

Скажем, формы нашего богослужения обусловлены византийской культурой. Если мы хотим вообще отстранить культуру, мы тогда должны поклоняться Богу духом и истиной, без формы. Но и тут мы какую-то форму займем, потому что язык тоже укоренен в культуре; мы говорим на определенном языке, выражающем гений народа, к которому принадлежим, в нем — история народа, история языка; и мы не можем уйти от этого. Если, опять же, говорить об иконах: в них сливаются два потока. С одной стороны, вечные истины, которые мы хотим выразить, с другой стороны — динамика данной культуры. Возьмите иконы Эфиопии, Византии, русские иконы домонгольского и послемонгольского типа, — они разные, не потому, что выражают различные истины, а потому, что их форма определена историческим контекстом, опытом. Поэтому мне кажется, что нельзя просто отмахнуться от культуры: она тут как тут. Даже когда вы говорите самые простые вещи на простом русском языке, они уходят корнями в целый мир культуры. Скажем, когда русский человек говорит проповедь, она доходчива в той мере, как он употребляет слова, настолько коренящиеся в прошлом данного народа и в настоящей ситуации, что они вызывают глубокий отклик. Так что я не знаю, как можно уйти от культуры, — некуда уходить от нее. Но заменять духовность культурой, что очень часто происходит теперь на Западе, и я бы не сказал, что здесь не происходит — это подмена.

Допустимо ли тогда верующему человеку заниматься художественным творчеством?

Помнится, Григорий Палама ясно говорит, что он видит образ Божий в человеке в том, что человеку дано, наподобие Бога, быть творцом. Мне кажется, что в искусстве человек должен быть художником и выражать то, чему его учит его вдохновение и его умение; но в момент, когда художник старается сделать из своего дела, мастерства иллюстрацию своей веры, это большей частью становится халтурой. Возьмите Толстого: пока он пишет роман, это может быть

²⁰ Инок Григорий (Круг, 1909—1969), виднейший иконописец нашего времени, жил и работал во Франции. О нем см.: Пересунько Ю. От монаха Алимпия до о. Зенона и инока Григория). — Отчизна, 1990, N 1, с. 8—15.

прекрасно; как только он начинает “думать” – ой! Потому что вместо свободного потока вдохновения он начинает приспособлять вещи под какую-то систему. Я думаю, что художник должен иметь смелость в какой бы то ни было области действовать как **художник**. Если он пропитан своей верой, ему не нужно сличать с ней свое вдохновение, потому что они не только переплетены, – они составляют одно. Но я не думаю, что можно ожидать, скажем, от православного художника, чтобы он писал православные иконы, православные пьесы или православную музыку, если он не является православным иконописцем или композитором. Если говорить о чем-то более примитивном, то в книге Иисуса Сираха, в 38 главе, говорится о врачах; там ясно сказано, что **Бог** сотворил врача, дал ему ум, способности и т.д. – ясно проводится линия, что все дарования от Бога; а как мы их употребляем – это уже зависит от нас.

О вере, образовании, творчестве²¹

* * *

Сейчас наука играет такую громадную роль – и справедливо, и я радуюсь этому, – что кажется нам, будто все вопросы должны решаться так, как решаются научные вопросы; и мы хотим применить чисто научные методы к темам, к которым они неприменимы. Мы же не применяем методов физики к биологии, методов химии к истории. С какой стати мы должны применять методы физических наук к области человеческой души? Я когда-то занимался наукой, в частности, физикой. Всякий физик может разложить музыкальное произведение на составные части, разобрать их математически, превратить их в кривые; это называется “акустика”, но это не называется “музыка”. После того как вы анализировали физическими приборами музыкальное произведение, у вас никакого представления нет о том, прекрасно оно или ничтожно, потому что восприятие красоты в музыке происходит на другом плане.

* * *

Часто ставится вопрос: могу ли я, культурный, научно образованный человек, быть верующим? Не является ли понятие веры несовместимым с понятием научной образованности? Я должен сказать, что человеку с небольшой образованностью гораздо труднее это понять, чем человеку с большой научной образованностью; потому что, скажем, физика или химия средней школы преподаются как окончательная и исчерпывающая истина о вещах; тогда как физика или химия, или биология, доступные ученому, который в поисках новых и новых областей знания, представляются совершенно иначе. Я окончил естественный и медицинский факультеты, и потому эта область для меня, может быть, более понятна, чем богословская, потому что я никогда не учился в богословской школе.

* * *

Я стал верующим, когда мне было лет 14-15, и в университет пошел в 18 лет, учился на естественном факультете физике, химии и биологии. Профессор по физике был один из Кюри, он физику знал и мог раскрыть ее как тайну, а не просто как серию фактов. Были другие профессора; они все были неверующие, но давали свой предмет как раскрытие тайны мира, и я очень легко мог видеть, как в этой тайне мира отражается лик Божий.

* * *

Годы, которые я провел в университете, занимаясь наукой, и затем десять лет, когда я был врачом, пять лет на войне и пять лет после нее, я переживал именно как что-то глубоко связанное с моей верой. Я сейчас не говорю о той стороне медицинской работы, которая выражает или может выразить христианскую любовь, заботливость, сострадание; но я воспринял и свое научное воспитание, и свою научную работу как часть богословия, то есть познания дел Божиих,

²¹ Подборка мыслей Владыки (как из опубликованных текстов, так и из архивных материалов) по вопросам веры в ее соотношении с научным образованием и деятельностью, служения Богу и личного творчества, искусства церковного и светского и др. Первоначально опубликовано в журнале “Искусство в Школе”. 1993. № 4.

познания путей Божиих. Если можно так выразиться по аналогии, для меня это было как рассмотрение картин художника и откровение о нем через его картины. Делать религиозные заключения из научных фактов, может быть, нелепо. Скажем, когда люди примитивно говорят: Ах! Материя и энергия в сущности одно и то же, и значит, основа всего мироздания духовна – это ряд таких скачков, которые не оправдываются ничем; но проникновение в тайну тварного мира, видение того, что он представляет, благоговейное отношение к нему и та неумолимая умственная честность, которая необходима для этого и развивается через это, мне кажется, чрезвычайно плодотворны, потому что честный, добротный ученый, который стоит перед тайной с живым интересом, с желанием в нее проникнуть, который может отстранить свои предрассудки, свое предпочтение той или другой теории, готов принять объективную реальность, какова бы она ни была, готов быть честным до конца, – такой ученый может перенести вот этот строй на всю свою внутреннюю жизнь.

Светское образование и духовность? Если говорить о светском воспитании как о воспитании в той или другой определенной идеологии, тогда может быть конфликт; если речь идет о воспитании ребенка просто в истории страны, в литературе, в языке, в науке, я не вижу конфликта. Я не вижу, почему, когда раскрываются перед нами глубины и богатство мироздания, это должно препятствовать нашему религиозному изумлению перед Богом.

* * *

...Надо показать ребенку, что весь этот мир для нас, верующих, создан Богом и что он – раскрытая перед нами книга. Вместо того чтобы противопоставлять веру, учение Церкви и т.д. окружающему нас миру, т.е. литературе, искусству и науке, мы должны бы показать детям, что и в этом раскрывается все глубже и шире тайна о Боге.

* * *

Бог этот мир сотворил; для Него все, что составляет предмет нашего научного изыскания, является как бы Бого-словием, то есть познанием о Боге; все творчество есть какая-то приобщенность к Божественному творчеству. Мы не имеем права не знать, какими путями идет человечество, потому что христианская вера, библейское предание в целом – единственное предание на свете, которое историю принимает всерьез и материальный мир принимает настолько всерьез, что мы верим в воскрешение мертвых, плоти воскрешение, а не только в вечность неумирающей души. И я думаю, что необходимо нам глубоко, утонченно знать и познавать все то, что составляет умственную, душевную, историческую, общественную мысль человечества. Не потому что в Евангелии есть какая-то политическая, или общественная, или эстетическая доктрина, а потому что нет никакой области, на которую Божественная благодать не бросала бы луч света, преображая то, что способно на вечную жизнь, и иссушая то, что не имеет места в Царствии Божием. И наше дело – иметь более глубокое понимание мира, чем есть у самого мира.

* * *

Человек должен себя развить как можно богаче во всех отношениях; и умом, и сердцем, и всем своим существом быть как можно более богатой личностью. Для того, чтобы быть христианином, это не обязательно; для того, чтобы в качестве христианина сделать вклад в жизнь, я скажу: да, обязательно. Нашим молодым священникам в Лондоне я всегда говорю: ты выбери – или будь невеждой и святым, или хорошо образованным человеком; но пока ты не святой, пожалуйста, будь образованным человеком, потому что иначе получится, что на вопросы, на которые человек имеет право получить ответ, ты не отвечаешь ни по святости, ни по образованию. Скажем, когда нормально образованный прихожанин говорит: Я читал книгу такого-то писателя; что о нем думать? – и вы никогда не слышали о нем, в то время как все вокруг давным-давно прожужжали уши об этом, что подумает этот человек? что он от вас получит? Если вы пошли бы с этим же вопросом к Серафиму Саровскому, который, конечно, Тейяра де Шардена не читал бы, он все равно ответил бы на вопрос, но из другого источника, а от необразованности ничего не прибавится. Я не специально светски образован, но опыт показывает, что иногда то небольшое, что

я знаю, мне дает доступ к людям, которым нужен этот доступ; а если сказать: не знаю, никогда не слышал, – люди просто ушли бы.

Я думаю, что это относится также и к мирянину. Вот, надо решить в самое короткое время – или стать святым, или образованным. Став святым, можно забыть про образование; но до этого нельзя просто сказать: образование ничего не стоит.

* * *

Все, что видится на земле – Божие творение; все, что есть, вышло из руки Божией, и если бы мы были зрячи, мы видели бы не только густую, непрозрачную форму, но и что-то другое. Есть замечательная проповедь на Рождество митрополита Филарета Московского, где он говорит, что если бы только мы умели смотреть, мы видели бы на каждой вещи, на каждом человеке, на всем – сияние благодати; и мы этого не видим, потому что сами слепы, – не потому что этого нет.

Но, с другой стороны, мы живем в мире падшем, изуродованном, где все двусмысленно; каждая вещь может быть откровением или обманом. Красота может быть откровением – и может стать кумиром, обманом; любовь может быть откровением – и может стать кумиром или обманом; даже такие понятия, как правда, истина, могут быть откровением или, наоборот, заморозить самую вещь, которую хотят выразить. Поэтому на все нужно смотреть глазами или художника, или святого; другого выхода нет.

Здесь вопрос вдохновения художника и вопрос его нравственного качества. С точки зрения Бога можно видеть сияние благодати – и ужас греха. С точки зрения художника можно видеть то и другое, но художник не может делать этого различия, потому что это не его роль, – иначе он будет говорить о грехе там, где надо говорить об ужасе, или о святости там, где надо говорить о красоте. Это два различных призвания, которые, как все в жизни, под руководством благодати могут быть благодатными; а иначе могут быть иными.

* * *

Что касается до того, следует или не следует заниматься творчеством – я думаю, что невозможно установить правила. Я думаю, что Бог каждого из нас ведет определенным образом. Если говорить о выражении собственной сущности – возьмите, например, человека, как Иоанн Дамаскин. Он пошел в монастырь, будучи одаренным поэтом, одаренным музыкантом. Его игумен считал, что это вздор, и поставил его на тяжелую, грязную работу. В какой-то момент умер близкий друг Иоанна, и он, несмотря на все запреты, излил свою горечь, свою скорбь в восьми тропарях, которые мы теперь поем на погребении. И когда игумен это увидел и услышал, он сказал: Я ошибся! Пой дальше...

Вот человек, который аскетически, по послушанию не должен был творить – и прорвалось, потому что это была какая-то его сущность. Я знаю случай, когда духовник запретил человеку себя выражать литературно – и человек совершенно сломался, потому что у него не было другого способа выражения... Есть люди, которые могут себя выразить молитвенно до конца, есть люди, которые из молитвы же черпают побуждения выразить себя как-то иначе.

* * *

Художник, который изнутри своего какого-то опыта жизни, опыта человека, опыта Бога выражал бы себя или музыкой, или в живописи, или в литературе, – такой художник, мне кажется, может открыть духовные ценности и для других. Поэтому я не думаю, что можно просто сказать: пишите только аскетическую литературу и ничего другого, – девять из десяти людей не станут читать вашей духовной литературы; к ней надо прийти. Скажем, в моем поколении чтение Достоевского сыграло колоссальную роль, как и чтение целого ряда других писателей – причем не обязательно благочестивых или особенно устремленных в этом направлении, а просто писателей, у которых была большая правда человеческая, которые нас научили правде раньше чем чему-либо, и довели куда-то. Поэтому я не думаю, что можно было бы оптом сказать людям: перестаньте заниматься творчеством, а занимайтесь молитвой, – человек может перестать заниматься одним и не быть в состоянии заниматься другим.

* * *

...Мне кажется, что путем душевного восприятия картина часто ставит перед нашими глазами действительность, которую мы иначе неспособны видеть. Если взять не картину, а литературное произведение: в литературном произведении выведены типы людей, конечно, упрощенно. Они представляют собой тип, но как бы они ни были богаты, они проще, чем человек, каким его встречаешь в жизни. Детали больше, выпуклее; и человек, который в своей блеклой жизни неспособен видеть эти вещи, увидев их раз у хорошего писателя, начинает их прозревать вокруг... Посмотрев на портрет, написанный хорошим художником, видишь, как значительны те или другие свойства. И так, вглядываясь в жизнь при помощи искусства, начинаешь что-то прозревать: и добро и зло, но не обязательно с оценкой, потому что писатель не обязательно должен делить людей на добрых и злых.

* * *

Я человек старого поколения, поэтому отзываться на нее (рок-музыку – *ред.*), как молодой человек мог бы, не могу; но по моему наблюдению это своего рода токсикомания. Скажем, видишь молодых людей, которые идут по улице или сидят в метро, в автобусе с наушниками и с кассетой, и это все время играет, играет, – ни минуты они не испытывают молчание и тишину; и это, конечно, нездоровая вещь.

А воспитать человека в восприятии тишины и молчания можно. Я знаю учительницу малюток, которая им дает играть, потом периодически вдруг им говорит: “Тихо, слушайте!..” И они сидят прямо как замороженные и слушают тишину, переживают ее, потому что вдруг шум, который они производили, кончился, и тишина делается реальной. А если ты научился слышать тишину, ты, может быть, научишься и в тишине слышать Присутствие... Рок мне непонятен. До меня не доходит его смысл, как до меня не доходил джаз, когда я был молод. Но во всякой вещи – будь то классическая музыка, будь то рок, есть риск, что ты не слушаешь музыку, а пользуешься ею для того, чтобы как бы опьянеть, одурманить себя. И в этом смысле не только музыка, а все, что извне на нас влияет, может нас как бы вывести из себя, опьянить. Этого не надо допускать. Надо сохранять в себе трезвость, так как если потеряешь себя – в музыке или в чем бы то ни было – потом себя не найдешь, может быть.

Мне кажется, что рок-музыка играет такую роль для очень многих. Я это вижу постоянно. Но в то же время я знаю людей, которые слушают классическую музыку часами и часами только для того, чтобы забыться; они не музыку слушают, они стараются забыть свою жизнь, свои трудности, страхи, ждуг, чтобы музыка их унесла от них самих. Они не музыку воспринимают, а себя как бы уничтожают. Поэтому будь то музыка или что бы то ни было, что тебя “выводит из себя”, надо знать момент, когда пора сказать себе: “Довольно!”

* * *

Одно из характерных свойств подлинной, здоровой духовной жизни – это трезвость. Мы знаем на обычном русском языке, что значит трезвость по сравнению с опьянением, с нетрезвостью. Опьянеть можно различно, не только вином: все, что нас так увлекает, что мы уже не можем вспомнить ни Бога, ни себя, ни основные ценности жизни, есть такое опьянение. Это не имеет никакого отношения к тому, что я назвал бы вдохновением – вдохновением ученого, художника, которому Богом открыто видеть за внешней формой того, что его окружает, какую-то глубокую сущность, которую он извлекает, выражает звуками, линиями, красками и делает доступной окружающим людям – не видящим. Но когда мы забываем именно тот смысл, который раскрывается ими, и делаем предметом наслаждения то, что должно быть предметом созерцания – тогда мы теряем трезвость. В церковной жизни бывает, так часто и так разрушительно, когда люди в храм приходят ради пения, ради тех эмоций, которые вызываются стройностью или таинственностью богослужения, когда уже не Бог в центре всего, а переживание, являющееся плодом Его присутствия. Основная черта православного благочестия, православной духовности – это трезвость, которая переносит все ценности, весь смысл от себя на Бога.

О некоторых категориях нашего тварного бытия²²

Хочу прежде всего сказать вам, с какой радостью я к вам приехал, – не только в Троице-Сергиеву Лавру, но именно в семинарию и академию, с радостью новой встречи, когда можно лицом к лицу видеть людей, которые дороги. И я привез вам привет с Запада, от наших священников и от наших мирян, которые молятся о благостоянии наших здешних школ и из которых многие надеются когда-нибудь тоже стать учениками и студентами семинарии или академии.

Тему моего доклада мне довольно трудно выразить. Формально и очень малоописательно я мог бы его назвать так: “О некоторых категориях нашего тварного бытия”; но сказав это, я, вероятно, только испугал вас сложностью слов и не передал того, что для меня значит эта тема, почему мне хочется говорить с вами об этом.

Сотворение человека и мира очень часто воспринимается просто – если это слово здесь применимо – как объективный факт. Он является спорным для одних, безусловным для других; у некоторых людей в наше время вся тема тварности создает проблемы и вызывает некоторые сомнения, но очень редко мне пришлось встретить людей, которые продумали бы эту тему нашей тварности с точки зрения живого религиозного опыта, с точки зрения того, как эта тварность раскрывается в нашем отношении с Богом, определяет очень глубокие и драгоценные отношения тварей с Богом и между собой.

Тема, разумеется, превышает возможности одного или даже двух коротких докладов, и поэтому я скажу вам, что успею.

Для начала мне хочется отметить несколько вещей. Во-первых, мы не сотворены просто, объективно, как будто мы – предметы; мы сотворены сразу, еще до нашего существования, в каком-то взаимоотношении с Богом. Бог нас творит, потому что мы Ему **желанны**, в самом теплом и самом глубоком смысле этого слова **желанны**. Мы Богу **не нужны** для того, чтобы Он Богом был; для Него нет **необходимости** нас вызывать из небытия. Он был бы той же полнотой самодовлеющего бытия, той же полнотой торжествующей, ликующей жизни и без нас. Он нас творит **нас** ради, а не Себя ради. И в Предвечном Совете, который вызывает нас к бытию, уже покоится вся полнота Божественной любви к нам. Вспомните начало книги пророка Аввакума, где во вступлении он говорит об этом Предвечном Совете, о том, как Бог, обращаясь к Сыну, говорит: “Сыне! Сотворим человека!”, и Господь отвечает: “Ей, Отче!” И тогда, раскрывая тайны будущего, Отец говорит: “Да, но человек согрешит и отпадет от своего призвания, своей славы, и придется Тебе крестом его искупить”. И Сын говорит: “Пусть будет так, Отче!”

Здесь нечто очень важное. Важно то, что Бог, творя человека, знал, что случится – и сотворил. Он знал, что будет с человеком: что придет на него смерть, страдания, безмерная скорбь становления или падения. И Он знал тоже, что Его любовь имеет в себе крестный оттенок, что в любви есть радость давать и есть радость получать, и есть победоносная, трагическая радость Креста.

И вот, Бог творит человека на фоне этого. Раньше чем человек сотворен, он уже возлюблен **крестной** Божественной любовью, а не только радостной и светлой. И когда человек появляется из небытия в бытие, он встречает Божественную любовь, он любим, он желанен.

Я уже сказал, что сотворение мира и, в частности, человека для Бога не является необходимостью. Это акт царственной, творческой **свободы**. И в том, что мы Богу не необходимы, лежит основа какой-то, хотя бы относительной, самобытности нашей. Если мы были бы необходимы Богу, если бы без нас, без твари, Бог не был полнотой того, что Он есть, – мы были бы только жалкой тенью в этом сиянии, мы были бы, словно светлячки при ярком солнце. Правда, мы горели бы каким-то светом, но по сравнению с Светом Невечерним, сиянием Солнца правды, полуденным озарением Божества мы были бы предельно ничтожны. Потому именно, что мы не необходимы, мы имеем некоего рода самобытность. Мы поставлены перед Лицом Божиим в

²² Доклад в Московской Духовной Академии 1-2 декабря 1966 года. Одно из первых выступлений Владыки перед студентами духовных школ в России; было напечатано в журнале “Церковь и время” (1991, № 2), издаваемом Отделом внешних церковных сношений Московского Патриархата.

какой-то самостоятельности; между нами и Им может быть диалог. Бог говорил – и пророки отвечали; человек молится – и Господь отзывается. Это возможно только потому, что мы – разные, потому что мы нигде не сливаемся, потому что конечное призвание человека стать причастником Божественной природы (2 Пет. 1, 4) не есть первичная данность, а именно **призвание**, которое может быть достигнуто возрастанием в него.

Священное Писание учит нас, что мы сотворены из ничего, из небытия призваны к бытию. В этом есть, с одной стороны, бесконечная наша бедность и, с другой – всерадостное наше богатство. Бедность – потому что мы ничем не обладаем, потому что у нас **нет корней ни в чем** (я сейчас говорю не только о человеке, а обо всей твари). Мы не коренимся в Боге, мы от Него глубоко различны. Мы не коренимся ни в чем, что существовало бы до нас, до твари вообще. По слову митрополита Филарета Московского, мы повешены между двумя безднами, между бездной небытия и Божественной бездной, только на слове и воле Господних. По существу, мы до конца беспочвенны; и мы можем иметь корни, только если станем действительно своими и родными Богу, причастниками Божественной природы, живыми членами Тела Христова, храмами Святого Духа, детьми Отчими по приобщению, то есть все вместе – Церковью, и каждый из нас – живым членом этой Церкви. Каждый из нас, но не порознь, потому что здесь именно нельзя употребить слово порознь, – розни нет, есть всепобеждающее единство во Христе и Духе, так что **наша жизнь сокрыта со Христом в Боге** (Кол. 3, 3).

Но это наше призвание. А пока мы стоим перед Божиим Лицом, призванные быть. Перед нами открыты все просторы, и мы ничем не обладаем. Это начало Царства Божия. Вспомните первую заповедь блаженства: **Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное** (Мф. 5, 3). Что это за нищенство, которое делает нас членами, гражданами, детьми Небесного Царствия? Конечно, это не простой, голый, для многих горький факт совершенной, всеконечной нашей обездоленности и зависимости. Не в этом нищета духовная; это та нищета, которая **может быть** духовной или может быть страшной обездоленностью. Вспомните слова Иоанна Златоуста, который нас учит, что беден не тот человек, у которого ничего нет, а тот, который желает того, чего не имеет. Можно не обладать ничем и не быть бедным; можно быть богатым с точки зрения каждого, кто посмотрит на нашу жизнь, и чувствовать себя обездоленным бедняком. Мы богаты только тогда, когда воспринимаем всё, что нам дано в жизни, как дар Божий, как богатство любви Господней.

Есть рассказ, приведенный Мартином Бубером²³, о том, как в XVIII веке жил в Польше раввин, – жил в крайней, отчаянной бедности, и каждый день приносил Богу благодарность за все Его щедрые дары. Однажды кто-то из его окружения спросил: как можешь ты благодарить Бога день за днем, когда ты знаешь, достоверно знаешь, в своей плоти и душе знаешь, что ничего тебе Он не дал, – как ты можешь лгать в молитве? Тот на него посмотрел с улыбкой и сказал: ты не понимаешь сути дела! Господь воззрел на мою душу и увидел, что для того, чтобы я вырос в полную свою меру, мне нужна бедность, голод, холод и оставленность; и этим Он меня одарил безмерно.

Это замечательный рассказ, потому что в нем мы видим человека, сумевшего верить Богу и Его любить, и понимать через любовь премудрость Божию, непостижимую плотским умом, видим, как этот человек, при предельной своей обездоленности, был богат и был, в каком-то смысле, в Царстве Божиим.

Открывается нам это Царство Божие, если мы поймем, как радикально и абсолютно мы ничем не обладаем. Мы ведь вызваны из небытия, нет корней у нас ни в чем, ни в Боге, ни в какой бы то ни было предшествовавшей нашему сотворению твари. Жизнь, которой мы обладаем, тоже дар Божий. Мы не можем ее создать; мы не можем ее защитить, мы не можем ее сохранить и удержать. Тело наше вне нашей власти. Достаточно маленькому сосуду разорваться у нас в голове, чтобы самый великий ум поблек и человек стал хуже зверя. Бывает перед нами горе, нужда, и мы всеми силами хотели бы почувствовать сострадание, а сердце, как камень, лежит у нас в груди; не можем мы подвинуть себя на живое чувство, если оно не дано нам будет свыше.

²³ Бубер, Мартин (Мардохай; 1875-1965) – еврейский религиозный философ и писатель, профессор Тель-Авивского университета.

Воля наша – о ней и говорить не надо, – что мы можем над собой сотворить? Мы бессильны над собой: лень, уныние, усталость, обстоятельства жизни – эти факты достаточны для того, чтобы очень крепкую волю сломить. Если оглядеться дальше: человеческие отношения, родство, дружба, любовь, достижения окружающей жизни, уют и обеспеченность – всё у нас есть, – и ничего у нас нет, потому что мы ничего не можем удержать. Как бы мы ни хватались за всё это, оно течет меж наших пальцев. Всё, чем мы обладаем, может быть отнято мгновенно. И если мы вдумаемся в это, мы уже получим некоторое представление о нашей нищете, но далеко не полное. Через такое представление человек в Царство Божие не попадает. Он может войти в отчаяние, в страх, в неуверенность, но не в ту устойчивость, которой характерно Царство Божие, не в радость евангельскую. Чтобы войти в эту радость, надо понять еще другое.

Надо заметить, во-первых, что при всей нашей окончательной обездоленности на деле мы не обездолены. Мы не обладаем ни жизнью, ни бытием, ничем – но всё это ведь у нас есть. Это только философское рассуждение, что у нас нет этого. Мы живы, мы движемся, мы любим, мы мыслим, мы радуемся, мы страдаем, не говоря о всем прочем. И вот тут надо понять, понять сердцем и умом, что всё, что у нас есть, это знак Божественной любви в каждое мгновение, в каждый час и день нашей жизни. Если мы могли бы присвоить себе что-либо, оно было бы наше, но перестало бы быть связью с Богом, чем оно является потому именно, что это всё не наше, а Божие. Всё, что у нас есть, это Божия любовь, ставшая конкретной, живой заботой о нас.

И вот, если понять это, тогда действительно перед нами раскрывается Божие Царство, потому что мы находимся в таком Царстве, где над всеми и над всем Сам Господь, Который дарствует без конца. Дарствует Он разное: есть благодеяния явные, и есть благодеяния тайные; приведенный мною рассказ о раввине XVIII века можно отнести к тайным благодеяниям, тайну которых мало кто из нас способен понять.

Вот основное положение наше по отношению к Богу; вот что значит для нас нефилософский термин активной жизни, живого, простого человеческого переживания – то, что мы сотворены из ничего, вызваны из небытия в бытие. В этом уже наше соотношение любви с Богом, наше безмерное, дивное богатство в Боге. Вспомните евангельские слова, что тот потеряет всё, кто не в Бога богатеет (Лк. 12, 21). Именно так мы можем быть богаты; и так мы богаты именно в этом соотношении. И это соотношение не механическое, а живое, динамическое и нравственное, имеющее внутреннее, живое, душевное содержание. Потому что тот факт, что мы поставлены перед Богом лицом к лицу в совершенной зависимости, и вместе с тем, что одарены страшной властью отвергнуть Бога, отказаться от Бога, потерять Бога, – раскрывает перед нами тему нашей свободы.

Я хотел бы сказать несколько слов о свободе и о послушании. Есть определение свободы у Хомякова, вывод филологического порядка. Он указывает, что анализируя славянские корни этого слова, мы видим, что в нашем русском понимании **быть свободным** значит **быть самим собой**. Самим собой каждый из нас хочет быть, и большей частью мы воображаем, что так оно и есть. На самом деле человек не может быть самим собой, если он не перерастет самого себя. Вспомните рассказ из Деяний апостольских, как апостол Павел нашел алтарь, посвященный неведомому Богу (Деян. 17, 23). Нельзя ли, взирая на современность (и конечно, этот рассказ, вероятно, можно истолковать иначе в другие эпохи), задуматься над тем, не является ли этот “неведомый Бог” человеком?

На этом алтаре может быть поставлен человек – но очень по-разному. Если мы видим в человеке только сложное сочетание материи, энергии, преходящих процессов, связанных с плотью, и ставим этого человека на престол, на алтарь, мы создаем кумир, идол, который подпадает под общее осуждение псалмов: **Уши имут и не слышат, очи имут и не видят, руки имут – и бездейственны** (Пс. 113, 13-15). Таким человек представлялся многим уже с XVIII века. Такой человек есть идол, и этому идолу, как всякому идолу, приносятся жертвы, кровавые и иные. Но это не человек, это обман о человеке, ложь о нем, прелесть, употребляя аскетический язык.

Но поставить человека на алтарь можем только мы, верующие, познавшие Христа как воплощенное Слово Божие, как Богочеловека. Он поистине пишется на иконах. Он поистине

предлежит на Святом Престоле в Таинстве Тела и Крови, Он поистине восседает одесную Бога и Отца: **Человек Иисус Христос** (Рим. 5, 15).

Может быть, тут уместно снова вспомнить Иоанна Златоуста. Он ставит вопрос: где искать подлинный образ человека, – и отвечает, что не надо его искать в царских палатах и на престолах земных, а надо поднять очи свои к Престолу Господню, и одесную Бога и Отца мы можем узреть образ человеческий. Здесь мы видим, с одной стороны, некоторое разрешение многих теперешних недоумений о месте человека, о том, что он значит. Мы видим, что образ человека, каким он представляется вне Бога, слишком мал для человека; из него можно сделать огромный идол, но величия в нем не будет никогда. Только наша вера в Человека, Сына Божия, ставшего человеком, раскрывает нам изумительные глубины человечности, того, чем может быть человек.

В этом отношении в порядке свободы становления самим собой перед нами раскрывается головокружительная высота и глубина. Тут мы должны понять, что у нас есть что сказать миру о человеке, даже раньше чем мы будем говорить миру о Боге. Тот маленький человек, которым вы мне предлагаете быть, мне недостаточен; **сердце человека глубоко** (Пс. 63, 7), и только Дух Святой может заполнить этот храм. Это очень важно помнить, потому что если мы не только житейски измельчаем, но потеряем из виду меру нашего призвания, то уже некуда идти, станем тоже молиться идолам: **размеру**, а не величию.

Но слово **свобода** раскрывается еще богаче, если привлечь другие языки. Латинское слово *libertas* – юридическое понятие Древнего Рима; оно определяет законное общественное положение ребёнка, который родился от свободных родителей, не рабов, и сам наследственно свободен, то есть общественно самовластен, имеет над собой право самоопределения. Но если вдуматься немножко в это понятие, а не только в слово, вы увидите, что всё воспитание такого ребенка держится между двумя крайностями. С одной стороны, его учат быть свободным, с другой – стремятся обеспечить ему эту свободу предельным самообладанием, властью над собой. Воспитание должно научить его никогда ни в чем не покоряться чему-нибудь внешнему без согласия разума и души; его учат стать таким человеком, который никогда не бывает движим внешними обстоятельствами, внутренней страстью, человеком, который не бывает в “страдательном наклонении”, то есть объектом, предметом воздействия. Из него стремятся сделать человека, который всегда бывает, всегда есть хозяин своей жизни, – а хозяином своей жизни можно быть вплоть до смерти. Вспомните слова Христовы: **Никто Моей жизни не отнимает у Меня, Я ее Сам даю** (Ин. 10, 18) – полное, предельное самовластие. Но для этого нужно победить в себе все силы косности, всё бессилие, всю инертность и все движения тела и души, которые несовместимы с такой властью над собой.

И здесь вступает понятие послушания, дисциплины. Дисциплина – тоже слово латинское; оно определяет не совсем то, что мы в ней видим всегда. Когда мы говорим о дисциплине, то думаем, как нас порой зажимают в железные рукавицы. Но дисциплина происходит от слова *discipulus*, ученик: это не только фактическое, но внутреннее состояние того, кто стал **учеником**, кто хочет **научиться** и готов оставить свои собственные привычки, свои собственные мысли, свои собственные суждения и чувства для того, чтобы слиться с большим умом, с более глубоким сердцем, с волей более совершенной. И только этим путем приобщения к большему человек делается свободным от меньшего, от самого себя, каким он есть сейчас.

В порядке римского права отец семьи был такой мерой; он знал, каким должен быть человек и как ему вырасти в эту меру. И сурово, твердо вел он человека по этому пути. Но и Господь ведет нас в область сыновства тоже этим способом. Вспомните слова Ангела-Хранителя Ерму: “Не бойся, Ерм (отметьте слово **не бойся**), не оставит тебя Господь, доколе не сокрушит Он либо сердце твое, либо кости твои!”. Да, Бог **рабов не терпит**, они Ему не нужны. Бог хочет детей Царства Божия, детей, которые были бы в Единородном Сыне подлинными сынами и дочерьми Царства... Вспомните притчу: блудный сын собирается сказать, после своего признания в греховности, что он готов и наемником быть в доме отчем. Он приготовил исповедь; отец дает ему сказать только первую половину: **Отче, я согрешил против неба и перед тобой, я уже недостойн быть твоим сыном...** – Тут его отец обрывает: недостойным сыном – да, ты можешь быть, а достойным наемником в моем доме – никогда. Сыновство не теряется, дары Божии неотъемлемы...

И вот таким образом Бог и нас ведет к сыновству, к тому, чтобы мы были детьми Его Царства через послушание, через свободу.

И одно последнее о том, как раскрывается это понятие наших взаимоотношений с Богом в порядке свободы в английском и немецком языках. Свобода по-немецки Freiheit, по-английски freedom, и оба слова покоятся в более древнем санскритском слове, которое значило “любимый”. Свободен тот, кто совершенно любим и способен отвечать на любовь совершенной любовью; он стал чадом Царства, он стал самим собой в настоящем смысле этого слова.

И всё это покоится на том, что так часто кажется нам просто фактом естественной истории или философской выкладкой: на том, что мы сотворены Богом, что мы вызваны из небытия в бытие Его творческим и животворным словом; покоится на том, что мы Богу желанны, но не необходимы. Только поэтому мы можем стоять лицом к лицу с Живым Богом, становиться не только по нашему призванию, но реально, не как данность, а как призвание тем, что Христос есть по природе.

На этом я закончу первую свою беседу и, если после строгого суда вашего ректора мне будет позволено провести вторую, то завтра я хотел бы продолжить эту тему, сказав нечто о познании Бога и о некоторых трудностях на пути этого познания.

* * *

Сегодняшний мой доклад, может быть, будет несколько разрозненный, потому что соединяющие звенья я просто не успею изложить.

Первое: мне хотелось бы сказать нечто о нашем знании Бога и о нашем знании твари и подчеркнуть, что каждый раз, когда нам открывается Бог, этому откровению Бога соответствует одновременно некое откровение о твари. И вот в каком смысле. Каждый раз, когда мы познаём что-либо о Боге, мы одновременно делаем очень значительное открытие о себе, а именно: что мы способны Бога познать не только как раньше познавали, а еще иным, новым и новым образом. Так, всякое откровение о Боге раскрывает нам новую глубину того, что мы как тварь собой представляем. Это очень важно помнить, и это совпадает с тем, что я уже говорил, что человек бесконечно глубже и значительнее, чем часто нам думается, и что только если мы видим человека в его соотношении с Богом, мы можем измерить размах и глубину того, что есть человек.

А второе: откровение, которое Бог о Себе дает, всегда бывает двояко. С одной стороны, Он нам дает Себя познать по-новому, с новым простором; но с другой стороны, это откровение всегда перед нами ставит новые глубины Божии, новую Божию непостижимость. Это тоже очень важно помнить. И примером я хотел бы вам дать Воплощение Слова Божия и то познание Бога, которое мы через него получаем.

В народном благочестии, особенно на Западе, где огромное внимание уделено человечеству и человеческой, воплощенной стороне Богочеловека, вполне естественно чувствуете чувство, будто – говоря очень упрощенно – в Воплощении Бог стал таким постижимым. Но это не более упрощенно, нежели многие наши верующие думают и чувствуют, будто, раз Бог стал человеком – Он весь тут; Младенец вифлеемский, в Котором обитала полнота Божества телесно (Кол. 2, 9), и есть Бог, я Его могу обозреть, я Его могу обнять; Он тут, Он постижим... Это только кажется, конечно, – но это **на самом деле** людям кажется, и от этого надо их предостерегать. Да, правда: в Воплощении Бог нам явился плотью; правда, что непостижимый Бог обитал среди нас, **приняв образ раба** (Флп. 2, 7) – но **не только это**. Раскрывается в Воплощении что-то более непостижимое, чем воображаемый трансцендентальный развоплощенный Бог, Которого мы можем выдумать.

Бога небесного, Бога, Которого мы могли бы характеризовать всеми человеческими лучшими свойствами и качествами, помножив их на бесконечность, пожалуй, выдумать можно. Еще Вольтер писал, что если бы не было Бога, человек выдумал бы Его. И на самом деле: если бы наш Бог являл только помноженные на бесконечность человеческие совершенства, Он был бы всемогущий, Он был бы мудрый, Он был бы добрый и т.д. Но Бога, каким Он открывается в Воплощении, выдумать невозможно, потому что никто не станет приписывать Богу такие свойства, от которых делается стыдно: Бог уязвимый, Бог побежденный, Бог униженный, Бог

засуженный земным судом, битый по ланитам, Бог, Который являет какую-то непостижимую немощь и непонятное бессилие... Такого Бога выдумать никто не может, никто не станет. Бога, если уж выдумывать, то Такого, Который был бы опорой, идеалом, Который был бы таков, чтобы в случае нужды к Нему обращаться в уверенности, что Он поможет, что Он будет, как стена, стоять между горем или опасностью или нуждой и мной. Но Такого Бога, Который делается человеком, такого Бога, Который принимает на Себя всю незащитность, всю немощь, всю уязвимость, всю кажущуюся побежденность, мог “выдумать” (если можно так выразиться) только сам Бог, мог явить только Бог.

В этом отношении христианство более неуязвимо в своей вере в Бога, чем какая-либо другая религия. Христианский Бог требует от нас как раз обратного тому, чего мы хотели бы от Него получить и к чему мы естественно стремимся. Возьмите Заповеди блаженства (я упоминал одну, но возьмите их все): блаженны те, которые в том или другом виде несчастны, – это не то, чего ищет естественный человек. Помню, я как-то читал лекцию по Заповедям блаженства, и очень добросовестный человек сказал мне: “Владыко, если это блаженство, какого христиане ищут, пожалуйста, будьте блаженны по-своему, но я его **не хочу**”. Естественный человек такого блаженства не хочет; естественный человек и такого Бога не хочет. И только потому, что Бог Себя таким **явил**, мы можем Его таким знать; выдумать такого Бога человек не захотел бы.

И вот, в каждом откровении Божиим, как в этом, раскрывается о Боге что-то непонятное, непостижимое. Иначе сказать, Бог нам дает познать что-то, за что мы можем уцепиться, что мы можем уловить, понять о Боге. И тут же, потому что мы что-то уловили, перед нами разверзается бездна непостижимости, непостижимого, то есть такого дивного, головокружительно дивного, перед чем можно только стоять в молчании, в изумлении ума, в трепете сердца.

Для этого молчания есть разные имена, в зависимости от того, с какой точки зрения мы к нему подходим. **Молчанием** можно было бы назвать **веру**, то состояние человеческой души, которая стоит перед тайной в совершенной уверенности, что в этом Божественном Мраке сияет непостижимый Свет – и безмолвствует: **Да молчит всякая плоть человеческая...** **Молчанием** можно назвать и то созерцательное состояние, которое описывает Исаак Сирий. Он говорит, что когда душа в состоянии экстаза, то есть выходит из себя, в состоянии исступления, тогда она уже не властна ни над мыслью, ни над чувством; она только безмолвствует, зрит, воспринимает, но не может сама сделать ни одного движения. Она зрит и воспринимает подобно тому, как земля принимает дождь, как земля принимает сияние солнца и свет его; она вся прогревается, вся просвещается, вся делается живой от этой животворной влаги и от этого животворного видения – но безмолвствует. **Молчание** – то безмолвие мистическое, умственное, аскетическое, охватывающее многие виды человеческой духовной жизни и деятельности. Безмолвие, **молчание**, тот глубочайший покой души, о котором я сейчас говорю, лежит и в основе истинной молитвы. Та исихия, безмолвие наших подвижников-исихастов, делателей Иисусовой молитвы, встречается тут с безмолвием ума в вере, с безмолвием всего человеческого естества вот в этих словах: **Да молчит убо всякая плоть человека...** И когда говорится о плоти, говорится не только о телесном составе, а о всем том, что плотское, что земное, что не небесное еще в нас.

Таким образом, всякое познание Бога нам раскрывает нечто, что мы можем постичь умом, сердцем, что имеет живые последствия в наших поступках, что подвигает нас к новой жизни. Ведь нельзя постигнуть Христа в облике Его безграничного смирения, Его отдачи, в Его любви и т.д. – постичь и не последовать! Значит, и воля наша, и самая плоть наша вовлечены активно, творчески в это познание Бога. Тайна расширяет нашу душу, углубляет ее, делает ее способной к молитвенному созерцанию и к познанию непостижимого.

Но, как я сказал в начале, всякое познание Бога есть одновременно откровение и о самом человеке. Помните тропарь Преображения, где говорится, что Христос явил ученикам славу Свою **якоже можаху**. То есть сколько они могли познать – они познали; сколько они **могли** видеть – они видели; сколько могли понести – они понесли видение Божественной славы. То же самое можно сказать о Моисее, когда он поднялся на гору Синайскую: сколько мог он видеть и познать, ему было дано познать; **лица же Моего ты не можешь видеть, но Я пройду перед тобой, закрыв тебя рукою Моей, и отниму руку Мою, и ты увидишь сзади Меня** (Исх. 33, 20-23).

Вот тут какая-то мера того, что человек может; мера не только в ограничении, но в раскрытии возможностей человека. Каждый раз, когда мы встречаемся с этим вопросом, нам кажется, что тут подчеркиваются границы: **Моего лица ты видеть не можешь...** Апостол Павел говорит, что придет время, когда мы увидим лицом к лицу, когда мы познаем подобно тому, как мы познаны, и т.д. (1 Кор. 13, 12), но это – будущий век. И мы очень редко замечаем или подчеркиваем, что, правда, лицом к лицу нам рано стоять, но пока мы можем видеть сколько-то, – и **как много** мы можем видеть, **как** много мы можем познать!

Теперь я хотел бы обратиться к одному образу, который, может быть, разъяснит кое-что из того, что я хочу сказать дальше, и что я уже сказал. Есть вещи непостижимые по своему существу, но которые мы можем постигнуть в какой-то мере и каким-то образом. Даже в нашем чувственном мире мы свет не постигаем, мы не “видим” свет, – мы окружены светом. Свет нам открывает то, что вокруг нас находится, но самого света мы не видим и не постигаем. Если мы находимся во тьме, мы не видим ничего; загорается лучина или зажигается электричество, или открывается окно – и вокруг нас целое богатство фона, красок, движения и облика. То же самое можно сказать в некотором отношении и о нашем познании Бога вот в каком смысле.

Вы, наверное, видели изображения многоцветных окон, которые бывают в западных храмах: громадные окна составлены из мозаики небольших стеклышек разных цветов, соединенных между собой в виде цветовой гармонии, в виде явления цветовой красоты. Мы привыкли в них смотреть, дивиться, радоваться на их красоту и удовлетворяться этим. Но подумаем о них немножко. Первое – самоочевидная вещь (но не все самоочевидные вещи можно не подчеркивать): если за окном нет света, то нет больше и этого прекрасного окна; если за окном ночь, перед нами зияет темное пятно в стене, которая иногда даже менее темна, чем самое пятно. Если вы возьмете электрическую лампу и от себя будете светить на это окно, вы все равно ничего не увидите, ни одного цвета. Вы можете заметить, что оно состоит из стеклышек, соединенных между собой каким-то веществом, но ни цвета, ни формы, ни красоты вы не узнаете; сколько бы вы со своего места ни лили света в сторону этой зияющей темноты, вы ничего не сможете увидеть.

Так бывает и с Богом, когда мы от земли пытаемся бросить в сторону Бога весь свет нашего ума, всю способность нашу к творческому выдумыванию. Мы можем выдумать кое-что, но мы видим только очень смутные, тусклые и бессмысленные, бессодержательные очертания.

Но достаточно подняться свету за этим окном, чтобы мы начали улавливать нечто живое и прекрасное, нечто значительное для нас, – потому что красота всегда значительна. Посмотрим теперь внимательно на это окно. Оно может изображать какое-нибудь событие Ветхого или Нового Завета: Преображение ли, Вход ли Господень в Иерусалим, гору Синайскую, всё равно что. Это уже нам что-то говорит о Боге. Это мировоззрение в линиях, в рисунке, но оно делается тем, что князь Евгений Трубецкой в своей книге об иконах называл “умозрением в красках” „только потому, что солнечный свет способен дать жизнь каждому стеклышку. Я не напрасно тут говорю об иконе, потому что в иконе дано гораздо больше, чем только линии и краски. Икона – явление будущего века, Царства Божия, пришедшего в силе уже на земле, и которое изнутри, сияя, открывает нам тайну и неба и земли, и богоприемности земли, и близости Бога к нам.

Когда мы вглядываемся в это окно, кроме сюжета, кроме рассказа, который являет нам эта сцена, мы начинаем постигать богатство красок, красоту горнего мира, являющуюся в нашем дольном мире, потому что свет горний изливается через вещество этого мира. И тогда получается то, о чем я говорил раньше: свет являет нам не только себя в преломлении через эти стеклышки, – он нам являет подлинную красоту, потенциальность, то есть все возможности красоты и озаренности небом нашего земного вещества.

Тут получается двоякое откровение: о Боге и о нас, о небе и о земле, о времени и о вечности. И тут мы видим, как они тесно переплетены, как они нераздельны друг от друга, потому что всё покоится в творческом Божием слове, вызвавшем всё из небытия, но не как мертвое вещество, а как вещество и человечность, способные к жизни вечной, способные жить в Боге, способные вместить невместимое. Это слово не мое, а Максима Исповедника; он говорит, что если мы только познаем, что такое тайна Воскресения, мы развернемся до предела беспредельного.

Таким образом, откровение ставит нас перед целым рядом действительности. Мы видим окно и получаем первое представление о нем; затем мы познаём, что за этим окном свет и что весь смысл этого окна, всё содержание красоты не в окне, а в свете за окном. С одной стороны, нам открыто нечто конкретное и реальное; а с другой стороны – раскрывается тайна, потому что если, увидев свет в его преломленности семью цветами радуги, вы скажете: “Теперь я понял, теперь я знаю, что такое свет, теперь я могу смотреть на него и видеть его”, и раскроете, распахнете окно – перед вами ничего нет. Есть непостижимый свет, снова ставший невидимым, потому что как свет вы его видеть не можете.

И это меня приводит к следующему пункту: к той разнице, при неразлучном соединении, которая существует **между реальностью** в себе и нашим **познанием** реальности, то есть истиной как мы ее выражаем. У нас есть соблазн, особенно на русском языке и особенно после определения отца Павла Флоренского, говорить, что истина – это **естина**, то есть истина это то, что **есть**. В какой-то мере это правда, потому что если какое-нибудь утверждение не соответствует вовсе тому, что есть – это ложь, а не истина. Но опасность такого выражения, которое так метко, и выпукло, и красочно, и легко запоминается (я его запомнил, значит, каждый может запомнить) в том, что можно, благодаря таким фразам, отождествлять то, что есть в себе, и то, как мы его знаем и **выражаем**. В этом отношении, что бы мы ни говорили о Боге, как бы мы глубоко Его ни познавали, будь то путем Божиего откровения, того, что Сам Бог о Себе говорит, будь то даже путем откровения Божия во Христе Иисусе, мы все-таки знаем отчасти и видим отчасти, словно через тусклое стекло (1 Кор. 13, 12). Я говорил сейчас о витраже – красочном, живом стекле, являющем, а не отделяющем нас, но, в сущности, это то же самое. Как вы не можете познать свет без этого стекла, так же вы не можете выразить словами это познание иначе, как ограничив его. Эти мысли, конечно, не мои; я сейчас провожу параллель между словом (будь то богословием) и образом (будь то стеклом, иконой) на основании одного из тропарей Великого канона Андрея Критского, где он говорит о царе Давиде: **написав словами, словно икону, песнь** (Песнь 7, троп. б): вот где связь между этими двумя понятиями. Когда мы говорим о Боге, мы, в сущности, пишем словесную икону. Эта словесная икона имеет все свойства иконы: она и выражает, и доводит до сознания, и оказывается как бы окном, раскрытым для нас на вечность; и вместе с этим имеет все ограничения иконы. Икона не есть Бог, сколько бы она ни выражала Его; так же как и словесная истина не есть то, о чем говорит.

Может быть, вам это кажется сложным, но я хотел бы подчеркнуть именно эту разницу между реальностью и ее выражением. Есть место, кажется, у Григория Паламы, где он говорит, что всё, что мы говорим о Боге в соответствии с Его собственным откровением, может являться предельной истиной для земли, но это не есть полная истина для Бога. Это нам надо всегда помнить, потому что большая часть безнадежных, ожесточенных, полных ненависти споров между верующими начинается тут: когда человек думает, что те слова, которыми он выразил правду, не только **выражают** истину, но **являются** самой истиной, и что возражающий против того, что он говорит, кощунствует, говорит против Бога, попирает Само Лицо, о Котором идет речь. Это ведет к расколам, к разделениям, к кровопролитиям на основании того, что должно было бы нас соединять в духе изумления о том, сколько мы можем знать о Боге, и глубочайшего смирения перед тем, как Он остается непостижимым.

Если бы мы больше молились, если бы мы умели молиться немножко больше, у нас не было бы этого затруднения. Когда человек молится, он приходит к Богу на основании того, что он уже о Нем познал. Но если он хочет встретить **Живого Бога**, то в ту минуту, когда он становится перед Богом, он должен стоять перед Богом и познанным, и непостижимым одновременно; или, вернее – им уже познанным и еще непостижимым. Иначе, ища перед собой в воображении, в чувстве, в опыте того Бога, Которого он знал до сих пор, он пройдет мимо того Бога, Который вот сейчас ему открывается, и Его не узнает. Он Его, может быть, даже отстранит, потому что этот Бог может оказаться непохожим на того Бога, к Которому он шел, Которого он ожидал, Которого вожделевает его сердце. Это очень важно.

То же самое случается и в нашем богословствовании. Есть какая-то грань, которая – предел познаваемости Бога на земле. Мы можем этой грани не бояться, она далеко за тем пределом, до

которого мы дошли. Как бы мы ни знали Бога, как бы мы на Него ни дивились, как бы ни захватывало дух о том, что мы о Нем знаем, мы всегда должны помнить, что знаем так мало и можем знать еще так много. Поэтому мы можем устремляться всё дальше и дальше, но знать, что когда всё постижимое будет достигнуто, всё равно Бог останется непостижимым, останется предметом безмолвного, трепетного, любовного созерцания.

Если всё это так, то это имеет для нас огромное значение не только в нашем богословствовании, которое через это призывается, с одной стороны, к творческой **смелости**, а с другой стороны – к послушливому **смирению**, то есть к способности в безмолвии вслушиваться в то, чего не может человек сам создать. Это также имеет значение в нашей практической жизни по одной определенной линии, – по линии сомнения.

Я хочу об этом сказать несколько слов, потому что сомнение – одна из самых трагических вещей в жизни верующих. Оно душу разбивает и иногда размывает веру там, где совершенно нечего было вере разбиваться или размываться. “Сомнение” по словопроизводству – “сочетание двух мнений”, причем в слабом смысле этого слова: того, что кажется, мнится (а не в смысле сильном, в котором можно выразить обоснованное мнение в современном употреблении этого слова). Со-мнение – сочетание того, что **кажется**, и еще другого, что тоже **кажется**. Это, конечно, создает внутри души напряжение, иногда доходящее почти до разрыва, потому что **кажется** что-то... Два мнения, два полюса нашего сознания о Боге (или за Бога, или против) или о твари (за одно или за другое) несовместимы никаким образом. И действительно, часто бывает, что они несовместимы, что нельзя будет впоследствии держаться того и другого взгляда одновременно, но что есть нечто соединяющее их или настолько одно оттеняющее, изменяющее, что одно попадает в полную гармонию с другим.

Но вот что важно помнить: обыкновенно люди разбиваются о сомнение, потому что переносят сомнение с себя на предмет своего сомнения, скажем, на Бога, и забывают, что сочетание и борьба этих двух мнений происходит только во мне и в моем сознании. Я знал мало; я познал что-то новое; как сочетать то и другое – не знаю... Это говорит только о том, что я не созрел к более полному, целостному пониманию вещей, но это вовсе не значит, что мне надо выбирать между тем и другим, причем выбирать не между тем, что мне мнится, а между Богом и не-Богом...

Тут может нам помочь одна параллель, и, надеюсь, мне пригодится мое прошлое. Как некоторые из вас знают, я сначала занимался естественными науками, а потом был врачом. Мне пришлось довольно много работать научно. И одна из первых вещей, которой я научился, когда занимался уже на университетском уровне физикой, химией и биологией, это: каждый раз, когда ты в чем-нибудь уверен, спешి это ставить под вопрос, пока кто-нибудь тебе не доказал, что ты думал глупость. Я ставлю вопрос так, потому что оно так и стоит: как только ты заглядишься на свою замечательную мысль, на окончательное свое открытие, окажется, что ты стоишь и смотришь на придорожный столб. Мимо тебя идут люди, идут толпы; а ты всё стоишь и смотришь, и не видишь, что перед тобой дорога, а не столб.

Научный подход, о котором я говорю, является систематическим сомнением, то есть сомнением, рождающимся не от неуверенности, а от зрелого, смелого подхода. Человек не сомневается в том, что есть объективная реальность, к которой он идет, и что все приближения к этой реальности должны быть пройдены. Он уверен, что надо проходить мимо каждого приближающегося столба, чтобы дойти до цели, а вовсе не дрожать перед каждым столбом, думая: а вдруг следующего столба нет, и будет бездорожье, пустыня, и я никуда не приду и погибну в ней?.. Сомнение научное вот в чем заключается. Кропотливой, труднической работой люди собирают, один за другим, факты. Когда собрано достаточно фактов, чтобы их удержать и вообще как-то употреблять, из них стараются создать систему, макет мира, каким он представляется при данных фактах, каким я теперь его знаю. Это позволяет все факты держать вместе, нечто вроде вруцелетия: вот, в руке – модель, макет, схема очертаний всего того, что я пока знаю и понимаю. Но ведь каждый из нас понимает и знает, что факты текущего года будут превзойдены фактами следующего года.

Я был учеником одного из Кюри, который открыл радиоактивность и первым занимался структурой материи. Мой профессор физики специализировался на структуре материи (это было 35 лет тому назад) и ясно нам объяснил, что атом никогда не будет раздроблен, потому что в тот момент, когда первый атом разлетится, разлетится и вселенная, оттого что будет выпущено в свет слишком много какой-то энергии. Но после того как он ясно сказал, что нельзя дробить атом, он все последующие годы изучал вопрос, как бы его всё-таки раздробить. Человек же любопытен: если ему суждено и взорваться на этом деле, ему хочется всё-таки раздробить атом. И теперь атомы разбивают, прямо как дети колют орехи. Так вот, если бы этот человек упёрся: “А я знаю, что атом разбить нельзя”, на него смотрели бы сейчас просто как на из ума выжившего старика. В том и корень дела, что в науке всякий говорит: **я знаю**, что этого нельзя, – а теперь давай-ка посмотрю, как **можно**... Это сомнение в собственном мнении – подлинное сомнение. Оно очень смелое, даже порой героическое, потому что научные исследования могут повести очень далеко. Я знаю, например, врача, специалиста по вопросам судебной медицины. Он изучал вопрос о том, какой минимум нужен, чтобы удушить человека, и проводил испытания на себе, с помощью ассистента. Он устроил целую систему веревок и подвесков, и вешал себя, прибавляя гири, до момента, когда терял сознание; тогда, конечно, ассистент должен был его снять. Так это очень смелый подход, потому что можно на этом деле и умереть; ассистент может не заметить или просто подумать: “Ну и пусть себе”...

Второе: это сомнение не только смелое, оно систематическое, оно должно относиться ко всякой вещи, а не к тому, что “мне не нравится”. Такое-то открытие не совпадает с моим вчерашним мировоззрением; давай-ка посмотрю, что можно сделать, чтобы доказать, что это не так...

Дальше: оно должно быть оптимистично и основано на вере, потому что разбиваешь свое мировоззрение для того, чтобы построить лучшее. В худшем случае – это история евангельских амбаров, сломаю свои нынешние амбары и построю другие (Лк. 12, 18); а в лучшем случае это построение такого мировоззрения, в котором человек может жить глубже, просторнее, с более углубленным пониманием вещей, с более углубленным пониманием человека и с бесконечно большими творческими способностями.

Почему же верующие так часто разбиваются о сомнения, когда ученые не разбиваются? Потому что ученый спокойно уверен, что если он превзойдет сегодняшнее свое мировоззрение, завтрашнее будет истиннее, подлиннее, лучше, более соответствовать настоящей объективной реальности. Он не переносит на реальность свое сомнение в собственном мировоззрении, а верующий почему-то это делает. А почему – я вам скажу: потому что мы развиваемся очень неравномерно. Если вы подумаете о себе и о более взрослых или пожилых людях, которые вас окружают, вы увидите, что умственно нас развивают чрезвычайно. Скажем, любой ребенок теперь ученеет очень ученого человека XVI века. Гораздо меньше нас развивают в порядке личности. Я сейчас не о культуре личности думаю, а о личности в самом лучшем смысле слова, о том, чтобы человек собой представлял неповторимую единицу, а не просто одного из многих экземпляров бараньего стада.

Но в чем мы развиваемся очень мало, это в области нашей веры. Большею частью сомнения заключаются для человека в споре между тем мальчиком, которым он был в восемь или девять лет и верил детской верой, и взрослым человеком, в которого он развился умственно. Восемилетний опыт религиозного мальчика ставится под обстрел созревшего умом взрослого человека; и мы удивляемся, что восьмилетний мальчик в нас, где-то в сердце, не находит умственного, интеллектуального способа разбить того умного человека, которым стал мозг хозяина. Это неувидительно, но это очень и обнадеживающе, потому что если дело обстоит так, тогда сомнение очень просто: это состояние флюса с нашей стороны. Раздулись вроде головастика: голова большая, а тело вроде нитки.

И тогда весь вопрос в том, чтобы созреть в области веры и религиозного опыта для того, чтобы взрослый верующий начал диалог со взрослым человеком внутри нас. Но этого диалога бояться не надо, потому что тот ребенок еще не созревший, еще младенец веры, может вырасти в полную меру, если он будет слушать своего собеседника – свой ум, и сличать возражения этого

ума со своим внутренним опытом. Да, мы увидим, что очень часто мы – дети в вере и нам надо стать взрослыми. Такие люди как Василий Великий, как Григорий Палама не боялись мысли и науки своего времени, потому что они их вместили. Если только мы созреем духовно, то сможем начать этот разговор с собой, – но ставьте ударение на том, на чем оно реально есть: именно на том, что я не нашел еще в себе того равновесия, при котором ум и сердце сочетались воедино и могут воедино не только о Боге думать, но и о человеке думать, о космосе думать, о науке. Человек, который развит наполовину, в ту или другую сторону, не пригоден ни на земле, ни на небе; он хромает на оба колена, как говорится.

И вот тут я хотел бы закончить очень убежденным призывом: Не бойтесь своих сомнений! Не бойтесь сомнений других! Не думайте, что это ставит под вопрос Бога, или небо, или землю, или человека, или науку. Это только вам говорит, что кафтан стал тесный, что вчерашнее твое мировоззрение начинает жать справа и слева, что тот образ, который ты создал себе о Боге и о мире, стал слишком мал для того опыта Бога и мира, который в тебе развился. И радуйся, продумывай и строй более широкое, более углубленное, более умное и более духовное мировоззрение. И тогда вырастет человек, который во всех областях – на своем месте, который может быть первоклассным ученым или деятелем земли, и одновременно гражданином неба, Божиим человеком на земле.

Ответы на вопросы

Нашим студентам приходится много заниматься и много бывать в храме, молиться. Имея большие возможности стать хорошими богословами и хорошими молитвенниками и пастырями, как сочетать то и другое, чтобы не вырасти этакими головастиками?

Мне кажется, что в период обучения приходится учиться, приходится собирать с большим трудом, внимательно, с большим убеждением всё, что потом должно в жизни пригодиться. Начинать с того, чтобы создавать окончательное свое мировоззрение – рано, потому что для того, чтобы построить свое мировоззрение, надо сначала иметь данные. Невозможно иметь мнения, построенные на очень примитивном, элементарном знании христианской веры. Надо сначала читать, думать и не стараться обобщать в системы то, чему научаешься. Например, по отношению к святым отцам надо сохранить каждому из них его личность, его особенную проблематику, различие мнений, с тем, чтобы помнить (и это очень важно: нам надо жить в сознании истории), что тот облик православного вероучения, который у нас есть, это, с одной стороны, церковное сознание, а с другой – только очертание, хотя в пределах его и есть громадное богатство оттенков и глубин. И пока мы еще не познали то, что другие уже познали, нам надо спешить узнать; иначе нам кажется, что мы удивительно оригинальны, но, к сожалению, кажется-то это только нам. Кто-то из французских писателей говорил, что никто себя не чувствует таким оригинальным мыслителем, как тот, кто не читал еще чужие мысли. Богатство чужих мыслей, которые просто по миру бегают, очень велико, и можно незаметно подобрать полдюжины, не заметив даже, откуда ты их взял, и на них основаться; но этого мало.

У меня была та же самая проблема, потому что когда я кончал среднюю школу, жилось, в общем, довольно бедственно; я хотел идти работать на завод, а мои родные настояли, чтобы я пошел учиться. И мне казалось: что же я буду учиться, когда я хочу, во-первых, только молиться, а во-вторых, работать, потому что надо было чем-то жить. Мне казалось, что тут измена как бы на двух фронтах. И после семи лет университетских занятий я понял, как родные были правы; понял я немножко раньше, но тогда мне стало ясно, что какая-то замороженность, в которой я жил (ну, положили в ледник на семь лет, ничего, как будто, полезного не делал, своих не кормил, себя кое-как прокармливал и ничего для Бога не делал) – только внешняя; на самом деле оказалось, что эти семь лет мне дали возможность быть врачом – что, в общем, полезная вещь, и меня научили очень многому в порядке дисциплины ума, в порядке, хотя бы, моего подхода к сомнению. Годы моей работы меня научили глубине человеческих отношений, и т.д.

Поэтому, думаю, не бойтесь такого положения; только, во-первых, добросовестно ищите знания, причем объективного знания, знания того, что на самом деле есть, а не того, чего “хватит на моих прихожан”, – потому что в порядке ума ваши прихожане, может быть, и не нуждаются в

богословии Григория Паламы, а в порядке духовной жизни, если они православные христиане, они живут богословием Григория Паламы. Нет такого догмата в Православии, который не имел бы непосредственного, прямого отношения к духовничеству. Я не могу себя назвать духовником, просто “на безрыбье и рак – рыба”, но ко мне люди приходят, каждый Божий день я по 14 часов вижу людей, которые приходят говорить о своей душе, о молитве, о сомнениях, о том или другом; и я вижу постоянно, как их проблемы, их запросы или просто ход внутренней жизни является тем, что выражено в православной догматике о Святой Троице, о исхождении Святого Духа, об энергиях, о сущности, об усиях, об Ипостаси, о всех тех вещах, которые приходится учить, как какую-то китайскую грамоту. Но эти люди не выдумывали богословия, – богословие рождалось у них из необходимости выразить словесно религиозный подлинный опыт – свой и целых человеческих общин.

Поэтому не думайте никогда, будто есть нечто, что можно назвать отвлеченным богословием. Есть люди отвлеченные, которые неспособны стоять на земле, и которые, конечно, и неба не достигают, а плывут где-то, как облака, между небом и землей, – но богословия отвлеченного нет. Я уже сказал, что легко мог бы вам показать, как учение о Святой Троице является основой, корнями социологии и человеческих отношений, и как в нем разрешается целый ряд психиатрических проблем нашего времени; я это опытно знаю из работы психиатрических клиник и среди людей. И если догмат Святой Троицы может иметь такое применение, то тем более догмат Воплощения или учение о таинствах, и т.д. Поэтому учите, старайтесь понять, старайтесь уловить не только то общее, что есть между всеми духовными писателями, – потому что это легче, – а то исключительное, неповторимое, что есть в каждом. Это одно.

Второе – учитесь молиться! Есть разница между молитвословием и молитвой. Учитесь именно молиться, а не быть хорошими техниками. Знаете, есть такие люди, которые читают замечательно, поют прекрасно, иногда даже служат умилительно, а в то же время душой где-то шатаются; или которые просто могут передать (потому что Бог им помог: дал им голос или манеру хорошую) другому то, чего они сами не поняли. Нет, молиться надо! И вот тут встает вопрос времени.

Мы все находимся во власти времени, но по своей вине, время тут ни при чем. То, что время течет, и то, что мы куда-то спешим, – две совсем разные вещи. Спешить – это внутреннее состояние; действовать быстро, точно, метко – это дело совсем другое. Примером возьмите вот что: бывает, на каникулах в деревне идешь себе по полю быстро, бодро, живо – и никуда не спешишь, потому что спешить некуда; а иногда видишь: человек несет два чемодана да еще три куляка, и страшно спешит, – а движется, как улитка. Поспешность заключается в том, что человек хочет быть на полвершка перед собой: не там, где он находится, а всё время чуть впереди. И пока человек так живет, он молиться не будет, потому что тот человек, которого здесь нет, не может молиться, а тот, который есть здесь, не молится. Вот и всё. Это чрезвычайно важно, мне кажется.

Простите, я хочу сказать об этом подробнее. Я обнаружил какое-то качество времени в очень, в общем, удачных обстоятельствах. Во время немецкой оккупации в Париже я был офицером французского Сопротивления, и меня арестовали. (Конечно, всего что я сейчас скажу, я тогда богословски не успел продумать, но основной опыт был основоположным для чего-то.) Случилось это так: я вошел в метро, и меня сцапали. В тот момент я обнаружил, что прошлое мое ушло по двум причинам: во-первых, потому что если меня куда-то денут, никакого прошлого больше нет, я буду сидеть, а что было раньше – меня определять уже не может; во-вторых, всё, что на самом деле было, меня поведет на плаху, и поэтому этого не должно быть, это прошлое надо начисто отсечь и тут же выдумать такое прошлое, которое бы пригодилось. Будущее, если вы задумаетесь над собой, существует у нас, поскольку мы его можем предвидеть и планировать. Например, когда идешь в полной тьме, в темноте, – будущего нет; идешь и ничего не ожидаешь, хотя ко всему готов. То будущее, к которому мы постоянно стремимся, только потому реально, что оно или наглядно у нас перед глазами, например, уходящий автобус, или потому что мы к нему идем: я иду домой, я иду в кинематограф... Но если это отсечь, если осознать: вот, меня сейчас взяли, я совершенно не знаю, что будет; он меня может ударить в лицо, он меня может застрелить, он меня может посадить в какую-нибудь немецкую каталажку, он может что-нибудь другое сделать, и

каждое мгновение будет так, то есть не будет мгновения, когда я буду знать, что случится в следующее. В таком случае, оказывается, и будущего нет.

Мы живем, словно настоящего нет, знаете, как бы перекатываемся из прошлого в будущее. А настоящее – это то мгновение, когда перекатываешься; и на деле оказывается, что единственное реальное мгновение – это теперь, **теперь** я весь тут. И тут я понял то, что имеет в виду один из отцов-аскетов пятого века, когда говорит: **если хочешь молиться, вернись весь под собственную свою кожу...** Мы ведь не живем под своей кожей; мы живем тут, там, здесь. Вот подумайте о себе, когда вы сидите за столом: глаза разбегаются, вы и в огурцах, вы и в рыбе, вы и в квасе, вы и в том, и в другом. Ваша личность расплзлась по всему столу. А если подумать о жизни вообще – мы не под своей кожей живем, мы расплзлись во все стороны вожделениями, желаниями, дружбами, враждами, надеждами, устремлениями – чем хотите. Я не хочу сказать, что всё это плохо, я только хочу сказать, что фактически под кожей остаются только внутренние органы, но человек весь вне себя, как выплеснутая из кадки какая-то жидкость. Так вот, **вернись под кожу**: только тебя возьмут так, в метро, и вдруг ты весь под кожей. И чувствуешь, как ты к этой коже привык, и как она тебе нравится, и как тебе не хочется, чтобы с ней что-нибудь нехорошее было, – это раз. Во-вторых, чувствуешь, что в этой коже так уютно, и что совсем не хочется из этой кожи выйти. И еще: прошлое мгновение опасно, будущее мгновение еще хуже; ой бы только в это мгновение, сейчас – устоять!.. И оказывается, что под кожу влезть можно, что в ней сидеть уютно, что настоящее – единственное реальное, и что в этом настоящем ужасно хочется остаться. И что, скажите, со временем делается? – Да оно без вас течет! Вы думаете – если вы движетесь, то движется и время? Ничуть. Время само по себе идет.

И вот для молитвы надо научиться жить так, как я сейчас описал. Если хотите, вот еще пример соединения того, что я говорил о времени и о молитве: когда вы едете на машине или в поезде, машина движется, а вы сидите, книжку читаете, в окно глядите, думу свою думаете; так почему так не жить, почему нельзя, например, быстро ходить, руками что-то делать – и одновременно быть в полном стабильном покое внутри? Можно! Это показывает опыт, причем не святых, а самых обыкновенных людей. Но для этого надо учиться останавливать время, потому что (к сожалению!) не каждого из нас арестовывают, и поэтому некому учить постоянно. Но можно самому учиться, – ведь и самому можно что-то сделать. Я вам дам два упражнения, и упражняйтесь; если вы сумеете это сделать, то они вас научат всему прочему.

Первое, очень простое: когда нечего делать, когда время есть, сядьте на пять минут и скажите себе: я сейчас сижу, ничего не делаю, и делать ничего не буду в течение пяти минут, я только **есмь**... И вы увидите, что это удивительное чувство, потому что мы очень редко обнаруживаем, что “я есмь”, мы почти всегда ощущаем себя как часть какого-то коллектива и частицу по отношению к окружающим. Вот попробуйте.

Когда я только что священником стал, пришла одна старушка из старческого дома и говорит: “Батюшка, вот я четырнадцать лет занимаюсь Иисусовой молитвой, всё время твержу, а никогда не ощутила, что Бог есть; что мне делать?” – Ну, я сказал – Обратитесь к кому-нибудь, кто молиться умеет! – Она говорит – Знаете, я всех ученых спрашивала, да вот мне говорят, что вы только что рукоположены, может, ничего не знаете, а от сердца скажете... – Я подумал: разумная старушка в каком-то смысле! – и говорю: Знаете, я вам тогда от сердца и скажу: когда Богу вставить слово, коль вы всё время говорите? – А что мне делать? – Я сказал – Вот что делать. Приди к себе в комнату, закрой дверь, поставь кресло поудобнее: так, чтобы свет падал хорошо, чтобы и лампада была видна с иконой, сядь и пятнадцать минут вяжи перед Лицом Божиим, только не думай ничего благочестивого и не молись... – Старушка моя говорит: Злочестиво же так поступать! – Я ответил: Попробуй, коли меня спрашиваешь, который не знает...” Она ушла. Через какое-то время пришла снова, говорит: “Знаете что, на самом деле выходит!” Я спрашиваю: “А что выходит?” – Она рассказала: “Вот что вышло. Я заперлась; был луч света в комнату, я зажгла лампадку, поставила кресло так, чтобы вся комната была видна, взяла вязанье, села и подышала, посмотрела, – и давно я не замечала, что комната моя теплая и уютная. Лампадка горела; сначала волнения всякие еще не утихли, мысли бегали; потом я начала вязать, мысли стали утихать. И вдруг я услышала тихое звяканье моих спиц. От этого звяканья я вдруг заметила, как тихо вокруг

меня, а потом почувствовала, что эта тишина совсем не потому, что шума нет, а что она какая-то – как она сказала – густая; это не пустота, а что-то. Я продолжала дальше вязать, и вдруг мне стало ясно, что в сердцевине этой тишины **Кто-то: Бог...**”

Вот попробуйте – не пятнадцать минут, потому что для этого надо быть мудрой старушкой, – а хотя бы пять минут. И если вы научитесь в течение пяти минут быть совершенно в настоящем времени, ни впереди, ни позади, и нигде, а тут, вы узнаете, что значит **быть**. Один старик, французский крестьянин однажды на вопрос: что ты часами делаешь в церкви, сидишь, даже чётки не перебираешь? – ответил: А зачем? Я на Него гляжу, Он на меня глядит – и нам так хорошо вместе... А что другого вам нужно?

После того, как вы научитесь, когда нечего делать, ничего не делать (чего, вероятно, никто из вас по-настоящему не умеет), учитесь останавливать время, когда оно бежит. И когда вам кажется, что без вас мир не устоит: “вот, если я не сделаю, всё начнет рушиться, мироздание поколеблется” – вспомните, что без вас почти две тысячи лет христианство существует, не говоря о вселенной, которая давным-давно существует до нас – и отлично существует. И научитесь останавливать время в такой момент, когда оно естественно не стоит, когда застоя нет никакого. Для этого, в момент, когда вы заняты, скажите: теперь стоп, я высвобождаюсь из своей занятости... Я, например, сейчас читаю с увлечением. Стоп на пять минут. Откидываюсь, сажусь, молчу, не смею думать ни о чем полезном, движущемся. **Я емь перед Богом...** Это трудней. Когда учишься, это не так трудно сделать, потому что отвлечься от учения вряд ли большое горе. А вот когда читаешь какой-нибудь интересный роман, сказать себе: я посреди следующей страницы остановлюсь, вот на этой шестой строчке, где нет даже запятой среди фразы, остановлюсь, чтобы время остановить, – это труднее.

Когда научитесь это делать, учитесь останавливать не только чтение, но и событие, скажем, выключаться из разговора. Три-четыре человека разговаривают, и вы тоже; откиньтесь внутренне, **влезьте под кожу**, как улитка в раковину, и побудьте в сердцевине своего бытия, в том, что аскетическая литература называет **сердцем**; не в каких-то эмоциях, а именно исихией, в безмолвии, в отсутствии молвы. Если вы научитесь это делать, то увидите, что можете читать, петь, работать, разговаривать, и ни одной минуты не терять молитвенного состояния. И это не заоблачная мечта, потому что если вам хочется этого вот столечко, то Богу хочется вот столько; Он вам навстречу пойдет с неба на землю, когда вы только ступите один шаг по земле. Я думаю, что если вы так будете над собой работать, то вы **будете** молиться, и вы сможете и учиться и молиться самым творческим образом, и никогда не терять ничего.

Я не могу сказать, что умею это делать, но я умер бы просто от тоски и утомления, если бы хоть столечко не мог этого делать, потому что за год у меня на часовой разговор приходит в одном только Лондоне больше трех с половиной тысяч человек: так где-то надо найти устоя, надо как-то выключаться. Это не значит заснуть или духовно задремать: войди под кожу и будь там.

Как сочетать исполнение монашеского обета с богословскими и пастырскими трудами?

Когда я принимал постриг немного более двадцати пяти лет назад, духовник мне сказал: ты ищешь в монашестве подвига и самоутверждения; помни, что монашество только в победе Божественной Любви в тебе, то есть в Божией победе над тобой... Я думаю, в этом всё дело. Если монашество определять тем, что ты, как мантийный монах, должен отбивать тысячу поклонов и читать пять тысяч Иисусовых молитв, и к тому прибавить все уставные богослужения, – конечно, некогда заниматься богословием и некогда заниматься пастырством, это друг друга исключает просто по времени, физически исключает.

Если монашество заключается в том, чтобы **не быть**, чтобы только Бог был в тебе и через тебя действовал, чтобы от тебя не осталось ничего, кроме послушливости, кроме прозрачности, кроме внутреннего Богоприимного безмолвия и Богоприимной немощи, тогда можно пастырством, во всяком случае, заниматься, потому что пастырство – это любовь.

Богословием, в некотором отношении, заниматься труднее, потому, что люди, которые не одарены с некоторой стороны, скажем, умственно, познавательной, – могут находить, что усилие внимания, которое уходит на усвоение, понимание, просто не дает места внутреннему деланию. Это ошибка, но эту ошибку может исправить не лектор, духовник. Отдельному человеку я мог бы

сказать, что ему делать, но в лекции я не могу сказать, это слишком частный, личный вопрос для каждого.

Но мне кажется, что монашество в отрешенности. Знаете, то, что Евангелие называет “отрешить вола или осла”: чтобы он больше не был привязан; это свобода от привязанности, это такое состояние, когда человек совершенно свободен следовать велению Духа, велению Бога. Это принимает монастырскую форму в монастыре; но это может тоже иметь форму тайного монашества, которую теперь, за последние 50 лет, многие испытали, когда деятельность как будто ничем специфически-религиозным не отмечена, и человек является тем или другим, а не его деятельность и не его платье. Вот единственное, думаю, что я могу сказать в такое короткое время.

Можно ли найти какой-нибудь критерий, мерило, по которому можно было бы определить истинность религии?

Я не могу вам дать не то что исчерпывающего, но даже сколько-то глубокого ответа на это, потому что я не думал в этой категории, мне не приходилось это продумывать как тему, но я укажу две вещи: во-первых, образ Того Бога, о Котором говорит данная религия; а во-вторых то, что этот Бог совершает над людьми. Второе я определяю так: помните раннее христианство, – язычники восклицали: “Как они друг друга любят!..” Церковь – это общество любви. Если бы окружающие видели в нас людей, преображенных любовью, они не ставили бы вопрос о том, какой Бог правильный, и есть ли Бог, и какая религия лучше. Как говорил уже давно апостол Павел, **имя Божие хулится из-за нас** (Рим. 2, 24). И дело не в добродетелях, а в любви, потому что есть много людей добродетельных, которые бессердечно сухи, хотя всё делают, что надо делать; этим к Богу никого не привлечешь. А вот Бог любви, Бог, Который нас учит, что **другой человек важнее меня**, что мой ближний – тот, **кому я нужен**, а не тот, который поближе ко мне, – вот это было бы одним из критериев; и в этом смысле мы, конечно, ставим под вопрос для многих Христову веру.

А первое – образ Того Бога, о Котором идет речь; я об этом говорил, может быть и сумбурно, раньше. Я хочу вернуться к цитате из Вольтера, что если Бога не было бы, человек бы Его выдумал... Всякий выдуманный Бог – это человек, помноженный на бесконечность; это всё то, чем восхищается человек, раздутое до громадных размеров. Разные культуры дают, в этом смысле, разных богов, более или менее привлекательных для следующих или соседних культур. Но всякого бога, который является только идеальным человеком, можно поставить под вопрос. То, что характерно в христианстве, что меня в нем убеждает всё больше и больше, это что такого Бога человек никогда бы не выдумал.

Скажем, говорят, что Христос является каким-то образом египетского бога Озириса, который тоже умирал и воскресал. Дело не в том, что он умирал и воскресал, это было бы просто; а дело в том, что Озирис никогда не делался человеком, никогда не проходил через поругание падшей человечности. Того Бога, Который нам раскрывается во Христе: немощного, бессильного, уязвимого, беззащитного, поруганного, побежденного – такого Бога человек никогда не выдумает, потому что это как раз обратное тому, что ему нужно в Боге и чего он ищет в Боге. Такой Бог может **быть** или такого Бога нельзя себе и представить. Я сейчас не могу войти в подробности, но хочу подчеркнуть две вещи: этот Бог одним свойством, в каком-то смысле, совершенно непостижимым, вызывает глубочайшее недоумение: “Как это может быть?” И вот чем именно: мы могли бы понять Бога, Который стал человеком и всё перенес, и стал бы, так сказать, **солидарным** до конца со всеми, кто способен познать Бога, кто способен спастись и т.д. Но что характерно для Христа: Он делается солидарным – причем раз и на веки вечные, путем неотъемлемости Своего Воплощения – не со спасенным, а с падшим человеком, не с тем, который уже начинает выправляться, а с тем, который сидит во глубине рва; и эта Его солидарность идет гораздо дальше, чем мы воображаем. Он соединяет Свою судьбу именно с грешником, с отверженцем, с лишенцем, с падшим человеком, причем не только внешне, – и вот где, мне кажется, критерий самый острый – а внутренне.

Вы подумайте: Гефсиманский сад; Христос проходит через всё, что предполагает смерть; но, по слову Максима Исповедника, даже в теле Своем Он не подлежит, в сущности, смерти, потому что смерть – это результат отделенности от Бога; а приискреннее соединение Божеского и

человеческого естества в Нем делает Его человечество бессмертным. Об этом мы свидетельствуем, говоря, что Тело Христово было во гробе нетленно, что во славе Божественной Он сходит в ад. Он принимает невозможную смерть: “О Жизнь вечная, како умираеши?” – но эта смерть возможна только как результат какого-то совершенно непостижимого разрыва с Богом, того, что один из наших западных православных богословов назвал “метафизическим обмороком сознания”.

Христос на кресте восклицает: **Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил** (Мк. 15, 34). Это не повторение пророческого псалма, это реальный опыт потери Бога, который только и делает смерть Бессмертного возможной. И когда мы об этом думаем, мы видим, что Христос глубже всякого безбожника испытал опыт безбожия, обезбоженности, и что тут ни один человек не может оказаться вне тайны Всечеловека, Который есть Христос. Мне некогда сейчас развивать эту мысль, но если вы подумаете об этих двух-трех пунктах, вы увидите, что в этом отношении в христианстве есть что-то абсолютно единственное, чего нет нигде. У нас есть непостижимый Бог со всем богатством, которое только может человек вообразить и чего постичь не может, но есть и исторический Бог, Который осмысливает историю и включает ее в Себя, вплоть до самого предельного отпадения человека и самой предельной трагедии.

Вот что меня убеждает, если уж мне надо убеждаться; потому что я к вере пришел иначе, просто, не философски, а потому что столкнулся с Богом, мне некуда было от Него уйти, я просто – ну, наткнулся на Него.

Веровал ли тот еврей в приводимом вами примере во Христа как Сына Божия?

Нет, не верил.

Значит что же, спасение возможно без Христа и благодать действует и вне Церкви?

Благодать разлита так широко, что мы просто постигнуть не можем. Апостол нам говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом как только Духом Святым (1 Кор. 12, 3). Значит, до того, как вы назвали Иисуса Господом, Дух Святой вам что-то шепнул в сердце. У нас такое представление: только внутри Церкви Дух Святой говорит, учит, раскрывает вещи. (По правде сказать, если на нас посмотреть, это не очевидно. Надо быть честным, в конце концов: встань перед зеркалом, погляди, поставь себе вопрос: я, что ли, храм Святого Духа? Это всякий может видеть на моем лице, в моих глазах? и т.д. Так что с этой точки зрения надо тоже какую-то трезвость иметь). Но Бог действует во всем мире, спасая – возможно, только как оглашенных, – если глас Божий доходит до чужого, а не до своего. Так что тут не то что сложно, а просто гораздо богаче, чем мы часто воспринимаем: мол, есть какое-то царство благодати, и потом пустыня, вроде северного полюса. Нет! Христос нам дает благодать так различно. Можем ли мы, например, сказать, что в Ветхом Завете пророки, патриархи были безблагодатными? Не можем. Но вместе с тем мы можем сказать с евангелистом: Духа Святого не было на земле, потому что Христос еще не вознесся к Отцу (Ин. 14, 26). Обе вещи одновременно истинны, потому что присутствие Святого Духа и воздействие благодати различно в разных обстоятельствах, но нет “радикальной” безблагодатности.

Так значит, возможно спасение без Христа?

Я бы сказал – да; возьмите слова апостола Павла о том, что язычники руководствуются законом Божиим, написанным в их сердцах, что иудеи руководствуются законом Божиим, данным Моисеем, христиане – законом Христовым идут (Рим. 2, 14 и след.).

Но они должны подойти ко Христу?

Они могут и не подойти, потому что это – историческая возможность. Вы не можете ставить под вопрос вечное спасение человека только на том основании, что он родился в Центральной Африке в эпоху, когда там не было ни одного миссионера; тогда действительно спасение определялось бы географией и историей. Англия – остров; там не видели ни одного православного до времени, скажем, Иоанна Грозного. Так что же, англичане должны погибать, вечное им осуждение, потому что они там родились? Это было бы слишком просто! Другое дело, если перед вами станет Истина, и вы пройдете мимо; но и тут есть слово Христово: всякая хула на Сына Человеческого простится (Мф. 12, 31-32). Значит, можно пройти мимо чего-то и не осудиться вконец.

Я вам дам личный пример. (В Англии считается неприличным о себе говорить, но мы – русские, так что ничего). Я в первый раз прочел Евангелие, когда мне было пятнадцать лет, от негодования о том, что я услышал о христианстве, чтобы удостовериться, так ли это, и если это так – покончить раз и навсегда с Богом, с христианством и со всем... Вот что получается: тот, кто при мне говорил о Христе, возбудил во мне такое отвращение, такое омерзение и негодование; а кончилось всё тем, что я прочел Евангелие, и это меня перевернуло. Но этого могло бы и не случиться; я мог бы, например, всё это выслушать, прийти в омерзение и ярость (как я и пришел), вернуться домой и увидеть, что у нас в доме нет Евангелия, и что ни у кого из знакомых нет, и сказать: ну, значит, так оно и есть, – и определить себя вполне твердо: потому что я тогда определил себя очень даже крепко. Так что всё это очень сложно. Знаю, что я сейчас поднимаю вопросы трудные. Вопрос нахождения Христа и спасения во Христе я вижу так: иначе как во Христе, спастись нельзя, – это одно; но если вы не могли даже и слышать о Христе, то вы этим не можете осудиться. Иначе это предопределение худшее, чем у кальвинистов, чем в реформатстве, тогда это был бы просто Божий произвол: ты родился там, ты и осужден поэтому. Тут никакой нравственной коннотации нет, ничего нравственного нет, есть только или случайность, или злая воля Божия, но не иначе: чем же ты виноват, что родился тут, там или еще где-то?

Значит, можно думать, что есть оглашенные в других религиях?

Мне приходится видеть очень много народа – православных и неправославных, верующих и неверующих. И одно время мне много приходилось работать с восточниками (три года, так что, в общем, достаточно). И поразительно, какая мера знания Бога может быть у человека, когда он доходит до какого-то края, и не хватает лишь имени Иисус, чтобы всему дать ключ и объяснение. Но можно ли себе представить, что когда человек, который опытом жизни хотя бы, при помощи своей даже языческой веры, дошел до такого знания, предстанет перед лицом Господним, он не узнает: “вот, Кого я всю жизнь искал, вот ответ на все мои недоумения”?

Мне вспоминается слово святого Исаака Сирина: не называй Бога справедливым; если бы Он был справедлив, ты был бы уже в аду... В этом большая надежда. Будь Он просто справедлив, как хороший судья, какая была бы надежда? Вся надежда на Божию несправедливость, которая высказана в притче о работниках последнего часа: почему Я не могу дать, если у Меня сердце широко? (Мф. 20, 15). Другое дело, способен ли ты принять: бывает, человек тебя любит, а ты не в состоянии ответить любовью. Но у того же Исаака Сирина есть замечательное место, где он указывает, что когда человек умирает, тело от души разлучается, и душа оказывается лицом к лицу с Богом, и видит, что единственное содержание жизни есть любовь, то всё, что в нем есть, вся любовь, которая в человеке где-то есть, вся тоска по любви, которая в нем есть, вся устремленность к полноте бытия, к настоящему бытию, которая в нем есть, делается для него как бы мучением деторождения: вот рвется всё это, и не может родиться. И тут Исаак Сирин приводит интересную мысль, что душа не может услышать окончательного решения о себе, пока не воссоединится с телом, потому что тело – ее друг, с которым она совещалась, творила добро и творила зло, и только вместе они могут принести этот плод.

Но опять-таки, это не такая слепая безнадежность, как нам часто представляется: умер, и теперь кончено всё. Тогда о чем мы молимся: **Со святыми упокой**..., панихиды и прочее? Мы не можем молиться о том, чтобы Бог, Который рассудил правильно, по нашей просьбе поступил бы неправильно; это не христианство было бы. Тут есть что-то иное: действительно в это время что-то происходит, и каждая капля любви, которая спала бы через нашу молитву, что-то может менять в Царстве Любви, потому что эта любовь принадлежит тому, кого ты любишь. И когда эта любовь тебе дорого стоит, тогда действительно думаешь: да, пожалуй это может помочь...

Я сейчас вспоминаю одного своего знакомого, значительно старше меня. Он попал в немецкий концентрационный лагерь и четыре года провел в Бухенвальде. Когда он вернулся, я его спросил, встретив на улице: “Федор Тимофеевич, ну как вы? – И он мне ответил – Я потерял покой. – Федор Тимофеевич, вы потеряли веру? – Нет, я потерял покой, потому что я день и ночь думаю об этих несчастных людях, которые были настолько безумны, что так нас мучили и пытали. Они-то не знают, что в какой-то день станут перед Божиим судом, а я знаю. Когда я был в лагере, был их жертвой, я чувствовал: я могу о них молиться, потому что Бог не может не слышать мои

молитвы. А теперь, когда они меня больше не мучают, у меня чувство, что молитва моя не оправдана, она слишком легковесная.” Вот где мы теснейше переплетаемся, где жертва, страдая, получает Христову власть сказать: **Прости им. Отче, не ведят бо, что творят; прости!..** Другой страдалец сказал своему ученику перед смертью, что только мученик сможет в день Страшного суда стать перед Судьей защитником своих мучителей и сказать: по Твоему примеру и слову я простил; Тебе больше нечего взыскивать с них...

Вот тут судьбы переплетаются; тут всё переплетается, тут-то и чувствуется, что Тело Христово – не только та святыня, но и та трагедия, о которой я говорил. Человек, который тебя пытается, не вошел в **Тело Христово**, но без него Тело Христово не будет сиять полнотой...

Расскажите, Владыко, о своем прошлом. Вы уже затронули...

Знаете, о себе говорить всегда неудобно и нелепо; я об этом никогда не говорил до момента, когда два года тому назад устроили в Лондоне публичное собеседование между безбожниками и верующими. Меня пригласили быть одним из тех, кто говорил за веру; беседа была приблизительно двухчасовая; не только участники этой беседы имели право в ней быть действующими лицами, но любой человек, который находился в зале, имел право поставить кому угодно из нас вопрос. В течение довольно долгого времени обсуждение шло об истинах веры, о достоверности того и другого, до момента, когда встал один человек и сказал: “Я ставлю владыке Антонию вопрос: на каком основании он верует?” – и сел. И вот тут я почувствовал, что не имею права защищать свою душу, особенно потому, что это мог быть вопрос не только любопытства, и не только вызов, а вопрос души душе. И тогда я впервые рассказал то, что я вам сейчас скажу. Но, конечно, такого рода рассказ может для вас ничего не значить.

Я никогда не встречался, можно сказать, ни с Церковью, ни с Евангелием лет до пятнадцати. Я родился в православной семье, был крещен православным, но Церкви не знал; это было связано с революцией, с постоянными передвижениями с места на место, с очень бедственным материальным состоянием, с тем, что я был во французской школе-интернате, где никакого рода религиозного преподавания не происходило; и с тем также, что у меня не было никакой тяги к Богу. Я обнаружил замечательный прием, чтобы никогда не бывать в храме: меня водили туда в Великую пятницу, и я обнаружил сразу, что если я вдохну ладана и задержу дыхание, я падаю в обморок, и меня немедленно выводят. И я этим пользовался в течение нескольких лет, когда водили, а потом и водить надоело. Что касается Самого Бога, мне дела до Него не было, а чувство было скорее враждебное, потому что порой, в разные минуты, Он усложнял жизнь. Был момент, когда эмигрантским детям предлагали места в католических школах при условии, что мы примем католичество, и это меня отшатнуло не только от католиков, но и от их Бога.

Так длилось, пока мне не стукнуло лет пятнадцать. Я тогда был членом русской национальной организации, где мы занимались русским языком, литературой, историей, потому что мечта была о том, что мы вернемся в Россию, и тогда все свои способности отдадим родной земле; а верой мы, в общем, не были заняты. Но кому-то из наших руководителей вздумалось Великом постом пригласить священника. И когда мы это услышали, все стали отрекаться – кто волами, кто полями, а кто старался просто убраться подальше от всевидящего ока. Я был пойман среди других, и мне было сказано, что если уж я так ненавистнически отношусь к этому делу, то я все-таки должен понимать, что надо соблюсти лояльность по отношению к организации, и если никто не пойдет на беседу, мы будем посрамлены; ты, – говорил мой руководитель, – и не слушай, ты только пойд и сядь... Я подумал: это я могу сделать – и пошел, сел. Но не слушать было трудно, потому что нас было пять человек юношей, священник говорил слишком громко, мешая думать, и мне пришлось слушать его. Богослов он был очень большой, но у него не было никакого опыта работы с молодежью. И то, что он нам говорил, меня так глубоко возмутило, вызвало такое негодование, что когда он кончил, я и не подумал оставаться с товарищами, а решил немедленно попробовать удостовериться, на самом ли деле Христос – то, что он говорил, и на самом ли деле христианство – та отвратительная, мерзкая, противная вещь, которую он нам описывал. Ехал я домой с очень глубоким чувством ненависти ко всему: дома спросил мать, есть ли у нас Евангелие, которое она мне дала; отправился в свой угол и, не ожидая всё равно ничего доброго от Евангелия, решил просчитать главы и прочесть самое короткое – и поэтому начал читать

Евангелие от Марка. И вот тут я вам не могу объяснить, что случилось. Кто знает – поймет, а кто не знает – всё равно не поймет. Случилось то, что между первой и третьей главой Евангелия от Марка, пока я читал, мне стало совершенно конкретно ясно, что по ту сторону моего стола стоит живой Христос. Вот и всё.

У нас был диспут в нашей молодежной группе, куда я пригласил председателя Союза безбожников Англии; он мне сказал: если вы верующий, значит, вы сумасшедший. Может быть и вы скажете, что такой подход не объясняет ничего: он и не объясняет; это просто факт моей жизни; и то, что произошло тогда, осталось при мне до сих пор: совершенно ясное сознание, что Христос тут, более реальный, чем эта кафедра или что бы то ни было другое.

Ну, а дальше уже было не приобретение веры, а только какой-то **пир**; я читал Евангелие, и оно мне раскрывалось как просто жизнь. Меня тогда поразили три вещи. Меня поразило то, что евангельский Бог не есть Бог какой-то маленькой – или большой – кучки людей, не Бог православных, или католиков, или протестантов, не Бог добрых, не Бог верующих, а Бог и злых, и неверующих, и ненавидящих вас, что Он **всех** объемлет, что у Него по отношению к каждому Свои пути, но никто для Него не чужой, если даже некоторые от Него отчуждаются. Это мне раскрыло мир как что-то целое, глубокое, значительное. И когда год или полтора спустя я поступил в университет, я в течение всех лет моего обучения воспринимал науку как часть богословия, слова о Боге и о том, что Он сотворил. Я и сейчас так думаю, после многих лет и научного, и духовного опыта.

Второе, что меня поразило: что из всех богов, о которых я слышал, наш Бог стоит за человеческое **достоинство**. Везде в Евангелии Бог относится к человеку с глубочайшим уважением; я не говорю: с милосердием или с жалостью, – можно быть милосердным и жалостливым к презираемому. Но как Он относится к каждому; никогда у Него нет оптового подхода, каждый для Него – единственный. Впоследствии мне пришлось читать жития святых, и там я встретил рассказ о том, как один священник, возмущенный грехами окружающих, стал молить Бога о возмездии, и Бог ему сказал: “Не молись так! Если бы был только один грешник на земле, Я был бы готов в течение тысячи лет испытывать то, что Я уже испытал в Гефсимании и на Голгофе...” И вот этот Бог – это именно Бог, Который дает, придает бесконечную ценность человеку. Когда Павел говорит: *мы куплены дорогой ценой* (1 Кор. 6, 20), ведь это просто значит, что когда Бог ставит Себе вопрос: “Чего достоин, что для Меня значит один-единственный грешник?” – Он отвечает: “Всю жизнь, всю смерть, всю кровь Моего Единственного Сына.”

А третье – это **свобода**. То, о чем я говорю, конечно, я не продумывал так, когда мне было лет 15-16, но в основе было именно это: мы не призваны приbedняться, как-то выворачиваться и изворачиваться, чтобы к Богу как-то приспособиться, мы должны стать **самими собой** в самом абсолютном, безграничном смысле этого слова, но самими собой мы можем быть только если **не я живу, но живет во мне Христос** (Гал. 2, 20), если я живу не только тем количеством дыхания Божия, которое Он вдохнул изначально в меня, а всей полнотой приобщенности Источнику жизни, если только я делаюсь во Христе сыном Божиим.

Ну и конечно, облик Христа тогда очень меня поразило сочетанием мягкости, любви и такой колоссальной силы, которая дает человеку возможность отдаваться: отдаваться любовью, служением, всей жизнью. **Никто Моей жизни у Меня не отнимает, Я ее Сам даю** (Ин. 10, 18) – актом воплощения крестной смерти. И если вы восприняли то, что я сказал о боголишенности в этой смерти, вы поймете, до чего это для меня остро и значительно.

Вот что я могу сказать; наверное, все вы испытали вещи такие же значительные, но раз мне поставили вопрос, я вам и отвечаю.

В церковной песне в звании раба человек призывается благословить Господа: “Се ныне благословите Господа вси раби Господни...”

Я думаю, спор тут только в словах. На славянском языке слово **раб** не значит то, что оно значит после крепостного права на Руси. На греческом языке и во всей древней культуре **раб** – собирательное слово, которое значит – **слуга** во всех его видах и во всех степенях, от самого униженного раба до домоправителя, который имеет, пожалуй, даже больше власти, чем хозяин, потому что он всем правит и над всем имеет высокую руку. Я думаю, что тут антиномия в

формулировке; конечно, мы **сыны** по призванию еще пока (я бы сказал: слава Богу! – потому что если всё, чего можно достигнуть – это то, что ты, да я, да мы сейчас можем явить, если вся полнота сыновства могла быть изображена в каждом из нас, какие мы сейчас есть – было бы очень печально, и действительно, Царство вечное было бы тоской неизмеримой); но, слава Богу, сыновство – призвание. То есть оно уже есть здесь как взаимное отношение с Богом, мы для Него – родные дети, Он для нас – родной Отец: это правда; но, с другой стороны, мы должны вырасти в меру этого сыновства, стать такими, каков Христос, какова Матерь Божия: это мера наша, не меньше. И вот здесь антиномия; действительно, пока что на земле всё двойственно; мы уже в вечности – и мы еще во времени; мы уже в Царстве Божиим – и мы еще в царстве мира. Мы еще рабы и слуги, потому что по психологии мы ведь боимся наказания, надеемся на награду, а не только любим так, чтобы всё было легко совершить по любви, – а вместе с этим мы уже дети родные, свои Богу.

Как понимать христианскую любовь – основу всех добродетелей?

Я думаю, именно так, как я сейчас сказал; ведь со словом **добродетель** у нас связано что-то совсем ложное. Это коротко выражено словами одного католического святого XVIII века: чем мне противнее что-нибудь делать, тем добродетельнее мой поступок... Но дело-то в том, что в таком порядке добродетель только говорит, что в тебе мало любви и как ты далек от неба. В каком-то смысле добродетель исключается любовью с точки зрения того, кто любит; она является только тому, кто видит. Скажем, мать просиживает целую ночь у постели больного ребенка, – она это делает по любви; ей в голову не придет, что она добродетельна; она любит ребенка, – как же она может иначе поступить? Посадите сиделку; если она не заснет и всё будет делать, она будет добродетельна – почему? Потому что у нее любви не хватает для того, чтобы эта любовь захлестнула всё и сняла самую тему добродетели. И в этом смысле из любви вырастают такие поступки, которые мы называем плодами Духа, с одной стороны, и добродетели – с другой. Но для творящего любовь, вернее, для живущего любовью понятия добродетели исчезают.

Если святой пророк Давид говорит: “Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков...” (Пс. 21,7)– то что же может сказать кто другой? Как это понимать?

Когда человек дрянь, он себя дрянью не видит. Большею частью человек плохой видит в себе массу – не то что добродетелей, а очень привлекательных свойств, качеств. Мы начинаем терять из виду наши замечательные качества, которые мы одни-то и видим, когда пленяемся чего-то большим, чем мы сами, и поражаемся большей красотой. Тогда мы начинаем соображать: а может быть, мы не так уж и прекрасны?

Одна из ошибок проповедников и учебников ложноаскетической установки в том, чтобы внушать человеку смирение, затоптав его хорошенько в грязь. Смирения этим не добудешь, потому что как тебя ни топчи в грязь, если даже ты на самом деле червь, ты стараешься выбиться из-под каблука и только начинаешь злиться на того, кто топчет. И это факт; это просто факт не только из моей червячьей жизни, но и из вашей червячьей жизни; никому из нас не прибавляется смирения от того, что мы затоптаны. Смирение появляется тогда, когда мы действительно поражаемся несоизмеримостью между собой и чем-то, на что мы только можем смотреть в молчании и изумлении. И у святых смирение рождается от видения Божия, а вовсе не от бесконечного глядения на себя.

У английского писателя Беккета есть пьеса о том, как одна семья жила в трех различных помойных ямах, и как они из этих помоек перекликались, и что они в этих помойках находили... Знаете, часто мы так живем. Нам говорят: “Смирись”. Мы думаем: как же мне смириться? Давай-ка я разыщу в себе побольше мерзости... И начинаем рыться в своих внутренних помойках. Смирения от этого **не прибавляется**, мы только всё больше и больше находим мерзостей. Тогда мы или к ним привыкаем – что бывает, к сожалению, очень часто, – или же впадаем в отчаяние – что тоже бывает часто.

Вопрос совсем не в этом. Иоанн Кронштадтский говорил: Бог никому не открывает его худость, пока не обнаружит в этом человеке достаточно веры и надежды, чтобы он не пал духом... Поэтому проблема духовной жизни вовсе не в том, чтобы разрыть до глубины все наши помойки, – им края и конца не будет, если начнешь рыться, – а в том, чтобы найти какой-то путь к тому,

чтобы постичь, почувствовать: **как** прекрасен Бог и **как** всё могло бы быть хорошо, если бы мы не лежали темным, грязным пятном на Его творении. И вот, когда человек видит величие, беспредельную, дух захватывающую Божию красоту – он делается тише и смиреннее.

Я помню одну девушку, которая перед браком пришла побеседовать и сказала: знаете, с тех пор, как я вижу, что я любима, у меня трепет и смирение в душе, потому что любовь – такая святыня, что я знаю: я не могу достойной быть – не Петра, Ивана достойной, а этого чуда любви... Вот где начинается смирение: там, где мы постигаем Божественную красоту и чудо любви. Тогда мы делаемся не мелкими, мы вырастаем в громадный, величественный рост, но чувствуем: по сравнению с величием Божиим мы – ничто. И какая радость в этом обнищании духа: быть любимым не по заслугам, быть прощенным не по заслугам. Помните молитву: **Аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать и дар, но долг паче.** Это бы радости не составило, а радость – просто быть любимым и быть чем-то именно потому, что ты любим.

Возьмите в службе брака: **Христос избрал Себе Церковь Невестой чистой.** Церковь – это мы, и нас-то можно назвать чистой невестой?! – нельзя, в каком-то отношении. Если бы Он сначала на нас посмотрел: можно ли нас полюбить? – никогда бы не полюбил. Но дело в том, что Он нас сначала полюбил, и в этой любви мы воссияли красотой. **Венчается раб Божий рабе Божией** – он делается князем, венчанным царем, потому что она его любит, и наоборот. Вот в чем дело: предваряющая и преображающая любовь... А когда ты одарен любовью, то остается только пасть ниц, ничего другого не сделаешь. Ответить любовью – всегда будешь чувствовать, что ты в долгу, что у тебя никаких сил полюбить не хватает в ответ на это чудо: быть любимым. Вот где смирение, вот где святость...

А выражается это – да, **червь** и всё прочее: “Я последний из людей, самый недостойный”; и искренне это говорится, потому что каждый чувствует себя ниже всего и всех.

У преподобного Серафима, когда он был в Духе, лицо сияло в каком-то сиянии Святого Духа, как у многих святых. Что это такое за действие Святого Духа?

Помните в Писании плоды Духа: **любовь, радость, мир, долготерпение** и т.д. ... **на таковых нет закона** (Гал. 5, 22-23). Вот это в одном порядке нам открывает, что такое это действие и приход к нам Святого Духа. Когда Господь Дух Святой к нам приходит, то водворяется в нас тишина, строй, радость, просветление сердца, вымирание страсти, озарение ума, ревность по Богу, трезвость, умерщвление плоти. Мы всё это знаем из опыта, потому что у каждого из нас в какое-то мгновение такое бывает. Только мы это забываем; а забываем потому, что невнимательны: мы носимся с собой и невнимательны к себе одновременно.

В случае Серафима Саровского, я бы сказал: невидимое стало видимым. Перенесемся от Серафима Саровского на гору Фаворскую: Преображение Господне. Ведь Господь не изменился, Господь был таким с самого начала; Он был воплощенным Сыном Божиим, ничего с Ним в тот момент не случилось, а случилось что-то с учениками. Он воссиял перед ними, и они видели славу Его, **якоже можаху**. А потом перестали видеть, потому что это видение славы повергло их в ужас, и они пали ниц, и Петр начал говорить некие безумные слова: поставим три кущи, – нам здесь хорошо... Он не знал, как выразить то, что происходило в его душе.

То же самое и с преподобным Серафимом, когда он говорит: Видите, Ваше Боголюбие, убогий Серафим даже и не перекрестился, а только в уме своем сказал: “Покажи ему, в какой славе бывают, когда Ты приходишь” – и Он показал... Я не могу объяснить ничего, я могу только сказать, что то внутреннее состояние, которое описано в Священном Писании как дары Духа (у Исаии), как плоды Духа в двух местах у апостола Павла, мы испытываем тоже, – в малой мере, но в какие-то минуты мы все знаем, что на нас сходит непостижимая тишина, когда все силы души и тела входят в глубочайший покой безмолвия, и мы слышим и видим, и живем, и царствуем свободно – это уже явление, то есть нечто такое, что стало видимым ради спасения человеческой души.

О призвании человека²⁴

Мы всё больше осознаём необходимость беречь природу и предотвратить разрушение животного и растительного мира, которое приобрело сейчас очень страшные масштабы. В связи с этим употребляется слово “кризис”. **Кризис** – слово греческое, которое значит, в конечном итоге, **суд**. Критический момент – тот, когда ставится под вопрос всё прежнее. Понятие кризиса как суда очень важно; это может быть суд Божий над нами; это может быть суд природы над нами, момент, когда природа с негодованием, с возмущением отказывается с нами сотрудничать. Это может тоже быть момент, когда мы должны себя самих судить и во многом осудить. Вопрос о том, что мы за последние полстолетия сделали с нашей землей, ставится нашей совестью; суть его не в том, что нам выгодно, чтобы земля была плодородна и всё происходило бы на ней как можно лучше, а в том, какова наша нравственная ответственность перед миром, Богом сотворенным по любви и с любовью, миром, который Он призвал к общению с Собой. Разумеется, каждая тварь общается с Богом по-иному, однако нет такой твари, которая с Богом не может иметь какого-то общения; иначе понятие о чуде было бы невозможно. Когда Христос приказывает волнам улечься, ветру успокоиться, это говорит не о том, что у Него есть некая магическая власть над природой, а о том, что живое слово Бога каким-то образом воспринимается всякой Его тварью.

Кроме понятия о суде, которое содержится в слове **кризис**, есть в нем еще другое понятие, которое я услышал недавно. То же самое слово, которое мы произносим как **кризис**, суд над собой, на китайском языке значит **открывшаяся возможность**, и это очень важно. Понятие суда говорит о прошедшем; но когда ты себя оценил, когда ты оценил положение, в котором находишься, когда ты произнес суд над собой, следующий шаг – идти вперед, а не только оглядываться назад. Поэтому действительно в момент суда человек заглядывает глубоко в свою совесть, всматривается в то, что он совершил – и лично, и коллективно как человечество; и дальше думает, куда идти. И в тот момент, когда мы начинаем думать о будущем, мы говорим о **возможном**. Мы не дошли еще до такого момента, когда нет ни возврата, ни пути вперед. Когда никакого пути не будет ни в прошлое, ни вперед – наступит конец мира; мы до этого еще не дошли. Но все мы ответственны за что-то в этой природе, в которой живем; мы все отравляем землю, отравляем воздух, все мы принимаем какое-то участие в разрушении того, что Бог создал. И поэтому хорошо бы нам задуматься над тем, какова связь между Богом, сотворенным Им миром и человеком. На этом я и хочу остановить ваше внимание.

Первое, что явно из Священного Писания: всё существующее сотворил Бог. Это значит, что Он Своим державным словом вызвал к бытию то, чего раньше не было. Причем, **вызвал к бытию** для того, чтобы всему дать блаженство, всё привести к состоянию святости и совершенства. Если можно так выразиться, в момент, когда Бог творил человека и другие твари, Он их творил из любви, творил их, чтобы с ними поделиться тем богатством, которое Ему Самому принадлежит; больше того: не только богатством, которое Ему принадлежит, но даже как бы и Самим Собой. Мы знаем из Послания апостола Петра, что наше человеческое призвание (как оно отражается на остальной твари – мы подумаем дальше) – не только знать Бога, не только поклоняться Ему, не только служить Ему, не только трепетать перед Ним, не только любить Его, но в конечном итоге стать причастниками **Божественной природы** (2 Пет. 1, 4), то есть именно приобщиться Богу так, что Божественная природа нам прививается, мы становимся подобными Христу в этом отношении. Святой Иринеи Лионский в одном из своих писаний употребил замечательное и, может быть, даже страшное, во всяком случае величественное выражение. Он говорит, что в конце времен, когда вся тварь дойдет до полноты своего существования, когда человек дойдет до своей полноты, всё человечество в единении с Единородным Сыном Божиим, силой Святого Духа, станет *единородным сыном Божиим*. Вот наше призвание в конечном итоге. Но это не значит, что человек призван к этому, а остальная тварь – нет. И я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов библейского рассказа о сотворении.

Мы читаем рассказ о том, как Бог произносит слово – и начинается то, чего никогда не было раньше, зачинается, появляется в бытие то, чего не было. И первым появляется свет. Есть (правда,

²⁴ Беседа в лондонском приходе 6 июня 1991 года.

не библейское, но восточное) сказание о том, что свет рождается от слова. И это замечательная картина: Бог произносит творческое слово – и вдруг возникает свет, который является уже началом существования реальности. Дальше мы видим, как другие твари образуются велением Божиим, как бы шаг за шагом совершенствуясь, и доходим до момента, когда создается человек. Казалось бы, человек является (и это действительно так и по Священному Писанию, и даже по самому простому, земному опыту) вершиной творения. Но рассказ о создании человека очень интересен. Нам не говорится, что Бог, создав самых высоких, развитых животных, дальше делает следующий шаг, чтобы еще более совершенное живое существо создать. Нам говорится, что когда все твари созданы, Бог берет глину земную и творит человека из этой глины. Я не хочу сказать, что это описание того, что совершилось, но этим указано, что человек создан из основной как бы материи всего мироздания. Разумеется, из этой же материи созданы другие существа, но подчеркнуто здесь, что человек не в отрыве от других существ, что он как бы в корне существования всех тварей, что он создан из того элементарного, основного, из чего все остальные твари вышли. И это как бы нас делает родными не только – как неверующий бы сказал – “самым высоким формам животного мира”, это нас делает родными и самым низким тварям земным. Мы созданы из того же материала. И это очень важно, потому что, будучи родными всему тварному, у нас прямое соотношение с ним. И когда святой Максим Исповедник, говоря о призвании человека, пишет, что человек создан из элементов материального мира и из элементов духовного мира, что он принадлежит и духовному миру и вещественному, он подчеркивает, что благодаря этому, содержа в себе и вещественное и духовное, человек может привести все созданные твари к духовности и привести их к Богу. **Это** – основное призвание человека.

Это очень важный момент, потому что дальше приходит другой момент – момент воплощения Слова Божия. Бог становится человеком, Господом нашим Иисусом Христом. Он рождается от Девы, Он получает полноту Своего человеческого естества от Богородицы; полноту Своего Божества Он от века имеет от Бога и Отца. Слово стало плотью, как говорит евангелист Иоанн; **вся полнота Божества обитала в Нем телесно** (Кол. 2, 9). Он полностью Бог, Он полностью человек; Он совершенный человек потому именно, что Его человечество соединено с Божеством нераздельно и неразлучно. Но вместе с этим обе природы остаются собой: Божество не делается веществом, и вещество не делается Божеством. Говоря об этом, тот же самый Максим Исповедник дает такой образ. Если взять меч – холодный, серый, как бы без блеска – и положить его в жаровню, через некоторое время мы его вынимаем – и меч весь горит огнем, весь сияет. И настолько огонь, жар пронизал, соединился с железом, что теперь можно резать огнем и жечь железом. Обе природы соединились, пронизали одна другую, оставаясь, однако, самими собой. Железо не стало огнем, огонь не стал железом, и вместе с тем они неразлучны и нераздельны.

Когда мы говорим о воплощении Сына Божия, мы говорим, что Он стал совершенным человеком. Совершенным и в том смысле, который я только что указывал: Он совершенен, потому что Он дошел до полноты всего того, чем может быть человек, стал единым с Богом. Но вместе с тем Он совершенен и тем, что Он в полном смысле человек; мы явно видим, что Он стал потомком Адама, что та телесность, которая Ему принадлежит, это наша телесность. И эта телесность, взятая от земли, Его сродняет, так же как и нас, со всем вещественным миром. Он соединен Своей телесностью со всем, что вещественно. В этом отношении можно сказать (об этом опять-таки Максим Исповедник пишет), что Христово воплощение является космическим явлением, то есть это явление, которое сродняет Его со всем космосом, со всем, что создано; потому что в тот момент, когда начинает быть энергия или вещество, оно узнает во Христе себя самое в славе соединения с Божеством. И когда мы думаем о твари, о той земле, на которой мы живем, о мире, который нас окружает, о вселенной, малюсенькой частью, частицей которой мы являемся, мы должны себе представить и понять, что телесностью своей мы сродни всему тому, что материально во вселенной. И Христос, будучи человеком в полном, совершенном смысле этого слова, сродни Своей телесностью всей твари: самый маленький атом или самая великая галактика в Нем узнает себя самое во славе. Это очень важно нам помнить, и мне кажется, что, кроме православия, ни одно вероисповедание на Западе не восприняло космичность воплощения и славу, открывшуюся для всей вселенной через воплощение Христово. Слишком часто мы говорим и

думаем о воплощении как о чем-то, что случилось только для человека, для человечества. Мы говорим, что Бог стал человеком, для того чтобы спасти нас от греха, чтобы победить смерть, чтобы упразднить разделение между Богом и человеком. Конечно, это так, но за пределом этого есть всё остальное, о чем я сейчас старался как-то упомянуть и на что старался, хоть неумело, указать.

Если так себе представлять вещи, то мы можем по-иному, с гораздо большей реалистичностью, глубиной, с ужасом и благоговением воспринимать таинства Церкви. Потому что в таинствах Церкви совершается нечто совершенно изумительное. Над частицей хлеба, над малым количеством вина, над водами крещения, над маслом, которое приносится в дар Богу и освящается, совершается нечто, что уже теперь приобщает это вещество к чуду воплощения Христова. Воды крещения освящены телесностью Христа и благодатью Всесвятого Духа, сходящего в них и совершающего это чудо. Хлеб, вино приобщаются и телесности и Божеству Христовым через сошествие Святого Духа. Это уже вечность, вошедшая во время, это вечность, то есть будущее, уже находящееся сейчас явно перед нами, среди нас.

То же самое можно говорить о всем, что освящается. Есть замечательные молитвы, которые мы никогда не слышим, потому что у нас нет к тому случая. Например, есть изумительная молитва освящения колокола. В ней мы просим Бога освятить этот колокол так, чтобы, когда он будет звучать, он доносил до человеческих душ нечто, что их пробудит; просим, чтобы, благодаря этому звуку, затрепетала в них вечная жизнь. Есть стихотворение (по-моему, Кольцова, но я не уверен), которое я сейчас попробую вспомнить:

*Поздний колокол, звучащий над равниною большою,
Прогреми над сердцем спящим, над коснеющей душою.
Звоном долгим, похоронным, всепрощающе-прощальным
Прогреми над сердцем спящим, безнадежно-беспечальным!
Может быть, оно проснется и стряхнет с себя забвенье,
И быть может, содрогнется на мгновенье, на мгновенье....*

И вот когда мы освящаем колокол, мы это именно имеем в виду. Мы просим этому колоколу дать не только музыкальный звук (это, при умении, можно создать из чего угодно), но просим: пусть благословение Божие ляжет на этот колокол так, чтобы его звук (простой, как все звуки; он не будет звучать иначе, чем другой колокол, созданный без молитвы, без цели обновлять, оживлять души) так прозвучал, чтобы дошел до человеческой души и чтобы эта душа проснулась. Так что, видите, речь идет не только о том, чтобы освящать вещество: воды, масло, хлеб, вино и так далее, но чтобы всё могло быть принесено Богу в дар от нас, принято Богом, и чтобы Бог влил, включил в это вещество Божественную преображающую силу. Мне кажется, что это очень центрально в нашем понимании и Христа, и космического, то есть вселенского, всеохватывающего значения воплощения Христова.

Это относится и к слову; ведь не только колокол звучит и обновляет души, но слово человеческое звучит и обновляет души – или убивает душу. Если слово мертвое, оно убивает, если оно живое, оно может дойти до человеческих глубин и там разбудить возможность вечной жизни. Вы, наверное, помните то место в Евангелии от Иоанна, когда сказанное Христом смущает окружающих Его людей, и люди от Него отходят. Спаситель обращается к Своим ученикам и говорит: “Не хотите ли и вы уйти от Меня?” И Петр отвечает за других: “Куда нам идти? **У Тебя глаголы вечной жизни.** Здесь речь не идет о том, что Он так знает вечную жизнь, так ее описывает, что ученики горят желанием в нее войти. Если мы прочтем Евангелие, мы увидим, что Христос нигде о вечной жизни специально не говорит, в том смысле, что Он ее не описывает, не представляет перед нами картины вечности, или ада, или неба. Нет; **сами слова** Христовы были таковы, что когда Он говорил с людьми, его слова доходили до той глубины человека, где покоится возможность вечной жизни и, как искра, упавшая на сухое дерево, загоралась в человеке вечная жизнь. Мне кажется, что это очень важно себе представить.

Это относится не только ко Христу, Чье слово, конечно, доходило сильнее любого другого: но также и к тем великим учителям и проповедникам, которые своим словом преображали жизнь других людей. И звук вещественен, и свет вещественен. Всё вещественное и всё материальное (и

столь великое, что мы не можем даже себе представить его размеров, и столь малое, что мы не можем его уловить даже прибором) именно благодаря тому, что человек создан из земли, то есть принадлежит своей плотью веществу, – всё охвачено Христом, включено во Христа. И поэтому когда нам говорится, что призвание человека – уйти в глубины Божии, сродниться с Ним так, чтобы быть с Богом воедино, и через это преобразить свою телесность, и в течение этого процесса преобразать весь мир вокруг, – это не слова, а реальность, это конкретное наше призвание, то, что нам дано как задача.

Но почему же мы так малоуспешны? Мне кажется, что стоит заглянуть в Священное Писание и поставить перед собой вопрос: что же случилось? (Я, конечно, буду говорить отрывочно, потому что развивать тему я сейчас не могу просто по времени). Когда человек был создан, ему была открыта возможность наслаждаться всеми плодами рая, но он не зависел для своего существования от этих плодов. Как Христос сказал дьяволу, когда был искушаем им в пустыне, **не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом Божиим** (Лк. 4, 4). Человек жил, конечно, не словами Божиими, а творческим Словом Божиим и своей приобщенностью к Богу. В момент его отпадения от Бога вот что случилось. Во-первых, между человеком и человеком произошло разделение. Когда Ева была сотворена из Адама, они друг на друга посмотрели и Адам сказал: это плоть от плоти моей, кость от кости моей (Быт. 2, 23). То есть, он увидел в ней себя самого, но уже не замкнутого в себе, а перед собой как бы, он увидел в ней не отражение, а свою собственную реальность; и Ева так же. И они были едины. Грех не только их разделил, но и разбил цельность отношений человека со всем окружающим миром. И теперь, когда человек оторвался от Бога, потерял способность жить только Божиим словом, Бог ему дает возможность и задачу: **возможность** существовать тем, что он будет получать некоторую долю своей жизни от плодов земли, и задачу возделывать эту землю. Без этого он умрет, он больше не может жить одним Богом. Человек как бы вкоренен и в Бога, Которого он не потерял до конца, и в землю, в которую погрузился корнями, чего ему делать не следовало, потому что его призвание было – эту землю вести к Богу, быть как бы вождем. Мы читаем в Библии, что человеку было сказано обладать землей, и постоянно толкуем это слово в смысле: иметь над ней власть, властвовать над ней. **Обладать** не обязательно это означает. Вы, наверное, помните опять-таки из Евангелия место, где Христос говорит: властители земли властвуют над своими подчиненными; не так да будет с вами, – первый из вас да будет всем слуга (Мк. 10, 42-44). Это и было призванием человека: быть слугой не в каком-то унижительном смысле, – быть тем, который служит всей твари в ее восхождении к Богу и ее постепенном укоренении в Боге и в вечной жизни.

А потом приходит другой момент. Если вы прочтете внимательно рассказ о поколениях от падения Адама до потопа, вы можете заметить, что число лет жизни упоминаемых лиц всё уменьшается. В другом месте Священного Писания (я не могу сейчас точно процитировать) говорится, что после падения постепенно водворялась смерть, что смерть стала постепенно владеть человеком, вернее, человечеством, всё больше и больше, потому что человечество всё дальше и дальше отходило от единства с Богом и всё глубже погружалось в тварность, которая сама по себе жизни вечной и даже продолжительной жизни земной дать не может. Два исключения однако в этом ряду. Одно – Мафусаил, который жил больше всех своих предков и потомков; о нем сказано, что он был другом Божиим и жил столько-то лет. Другое – Енох, который, потому что он был другом Божиим, умер, по библейскому рассказу, молодым: всего трехсот с чем-то лет... Для нас это, конечно, не молодость, но по сравнению с другими он был молод. Но долгожизненность одного и ранняя смерть другого были обусловлены тем, что оба были больше, чем кто-либо, соединены с Богом. Богу было нужно, чтобы один жил, и Богу нужно было, чтобы другой к Нему пришел.

А потом приходит потоп, и в тексте есть еще место, о котором можно задуматься. Люди всё дальше и дальше отходили от Бога, до момента, когда Бог, взглянув на них, сказал: эти люди стали плотью (Быт. 6, 3). Духовности в них не осталось, и пришел потоп, смерть пришла на них. И после потопа Господь говорит впервые: теперь вам предоставляются в пищу все живые существа. Они вам будут служить пищей, а вы будете их ужасом (Быт. 9, 2-3). Это очень страшно. Страшно себе представить, что человек, который был призван всякое существо вести по пути к преобразению, к

полноте жизни, дошел до того, что больше не может взлетать к Богу, и вынужден свою пищу добывать убийством тех, кого должен был вести к совершенству. Здесь как бы замыкается круг трагедии. Мы находимся в этом кругу, мы всё еще неспособны жить только вечной жизнью и словом Божиим, хотя святые в значительной мере возвращались к первоначальному замыслу Божию о человеке. Святые нам указывают, что надо молитвой, духовным подвигом постепенно высвободить себя от нужды питаться плотью животных, переходить только на растительную пищу и, уходя в Бога всё больше и больше, нуждаться в ней всё меньше и меньше. Были святые, которые жили только тем, что раз в неделю приобщались Святых Тайн.

Вот в каком мире мы живем, вот к чему мы призваны, вот какая была данность. Вот наше православное представление о том, каков мир и как Бог с этим миром связан: не только как Творец, Который просто творит и остается чужим Своей твари. Даже художник не остается чужим тому, что он творит; всякий может узнать руку художника или его печать на его творчестве. Здесь же речь идет о другом. Бог не просто творит и пускает жить тварь, Он с ней остается связанным и зовет ее к Себе, чтобы она выросла в полную меру данных возможностей: из невинности – к святости, из чистоты – в преображенность. Вот представление, которое есть у нас в Православной Церкви о тварном мире, о соотношении Бога с человеком и со всей тварью без исключения, и о роли человека. Тогда становится понятен, с точки зрения Православной Церкви, вопрос о нашей роли в том, что мы сейчас делаем с землей. Вопрос стоит не: “то, что мы делаем с землей, нас погубит”, а: “то, что мы делаем с землей, является нарушением нашего человеческого призвания”. Мы сами себя губим и мы закрываем путь другим тварям к преображенной жизни.

О свободе и подвиге²⁵

Мы привыкли думать о свободе в двух планах – в плане общественном, политическом, и в плане взаимных отношений, и определять свободу как наше право поступать так, как нам хочется. Но если подумать о значении слова **свобода** на разных языках, то раскрывается целый мир совершенно других и более богатых понятий, которые можно поставить в параллель с понятием послушания. Большею частью, опять-таки, понятия свободы и послушания мы противопоставляем одно другому: ты или слушаешься – или свободен. На самом деле между ними есть органическая и очень важная связь. Поэтому я хочу рассмотреть слово “свобода” на разных языках; это раскроет нам очень важные глубины.

Латинское *libertas*, которое дало слова, обозначающие теперь, в нашей практике, в нашей жизни политические, общественные свободы: мое право распоряжаться своей судьбой, своей личностью, своей жизнью – было понятие юридическое. Оно означало изначальное общественное положение ребенка, родившегося от свободных родителей, не от рабов. Но ясно, что родиться с правами свободного человека вовсе не значит быть свободным или остаться свободным. Если вы рождены с правами свободного человека, но стали рабом своих страстей в каком бы то ни было виде, то о свободе больше нельзя говорить. Человек, ставший наркоманом, поработанный пьянством или любой страстью, какие описаны святыми отцами или известны нам просто из опыта, уже не свободен. И поэтому свобода в этом понимании неразлучно связана с дисциплиной: чтобы, родившись свободным, таковым остаться, надо научиться владеть собой, быть хозяином себе. Если я неспособен исполнять приказания, повеления своей совести или своих убеждений, то я уже не свободный человек, каково бы ни было мое общественное положение. И в результате этого два понятия сразу связываются с понятием свободы: способность владеть собой, и та прошколенность, которая к этому ведет, которая в сущности и есть послушание. Мы воспитываем ребенка путем послушания; но **послушание** можно понимать двояко. Можно его понимать как дрессировку, подобно тому, как собачку дрессируют: как только ты сказал: “делай” – он делает, “иди” – он идет, “беги” – он бежит. И это, к сожалению, наблюдается на всех планах жизни, например, в семье, когда строгие родители **дрессируют** своих детей. Я помню двух моих сверстников; у них была очень властная мать. Однажды ее кто-то спросил: каким образом ваши

²⁵ Беседа в Москве в июне 1988 года. Эта и предыдущая беседа были опубликованы журналом “Человек” (1993, № 3) под общим названием “О свободе и призвании человека”.

сыновья, которым уже за тридцать лет, исполняют ваши приказания мгновенно?.. И она с выражением трогательного изумления сказала: у меня – руки, а у них – щеки!.. Этот род послушания, конечно, ничего общего не имеет с воспитанием человека в свободе; это никогда не приведет к свободе, это порабощение.

Но есть понятие послушания совершенно иное. Читая жития святых, мы сталкиваемся с тем, что иногда старец давал странные приказания – просто чтобы научить человека побеждать своеволие. Если немного отойти от такой воображаемой практики, вернее, от образов послушания в пустыне, то окажется, что послушание в основе заключается в том, чтобы научиться всем существом своим – то есть всем умом, всем желанием своим, всей волей – вслушаться в то, что говорит другой. И цель его – именно перерасти себя благодаря тому, что ты вслушиваешься в мудрость или в опыт другого человека. И от этого получают не недоросли (какими удалось сделать тех молодых людей), а взрослые, зрелые люди, которые способны отрешиться от себя с тем, чтобы открыться голосу или образу другого человека. И когда эта способность вслушиваться испытывалась отцами в египетской пустыне посредством приказаний, которые казались просто абсурдными, цель была совсем не в том, чтобы людей дрессировать: “что я скажу, то ты и делай”, – а в том, чтобы в любую минуту они могли забыть свои соображения и исполнить то, что им сказано, как школа вслушивания в чужую душу, в чужой опыт, в чужое понимание. Такое послушание может привести к зрелости и к тому, что человек способен владеть собой. Если я могу отрешиться от своих мыслей данного момента, от своих эмоций данного момента ради того, что говорит другой человек, больше для меня значащий, чем я сам, тогда я освобождаюсь от себя путем овладения собой; я могу отпустить себя, я могу освободиться от себя самого. И так это первичное понятие, которое я указывал, *libertas*, состояние свободнорожденного ребенка, может перейти в состояние свободного гражданина, человека, который имеет над собой такую власть, что может в любую минуту контролировать свои желания, свои мысли, свои волеизъявления и даже свои телесные реакции. Потому что каковы бы ни были наши мысли или чувства или движения воли, если мы физически испуганы, если мы не способны подвинуть свое тело на то или другое действие, то все может разбиться. Вы можете, имея самые благородные чувства, увидеть, как на человека нападают хулиганы, и струсить: ваша плоть неспособна на бой, – не потому что сил нет, а потому что духа не хватает. Это очень важный момент.

Таким образом, послушание и свобода неразрывно связаны; одно является условием другого, как школа. Но конечная цель такого послушания, начинающегося со слушания, вслушивания в мысли, чувства, опыт другого человека – нас научить такой отрешенности от своих предвзятых мыслей или владеющих нами чувств, что мы можем потом вслушиваться в волю Божию. Потому что, разумеется, услышать приказ живого человека во плоти гораздо легче, чем понять слово евангельское. Как только мы слышим евангельское слово, мы сразу умеем найти способы избежать острия его требовательности. А послушание, которое требует отрешенности, овладения собой, имеет только одну цель: нас сделать способными слушать и слышать слово евангельское, то есть Христово слово в Евангелии, или голос – еле слышный, а то ясный, яркий – Святого Духа в нашей душе. И только такое послушание может нас сделать зрелыми людьми, а не недорослями, которые всю жизнь нуждаются в указаниях, что делать и как.

Второе условие свободы – дисциплина. Мы опять-таки ошибочно думаем, будто дисциплина – почти что воинский устав, армейская обстановка; тогда как это слово происходит от латинского *discipulus*, что значит **ученик**. Дисциплина – это состояние человека, который нашел себе наставника и отдал себя этому наставнику как ученик, и потому всей душой, всем существом вслушивается во всё, что этот наставник может сказать, не воображая, что он никогда не ошибется ни в чем, но с тем, чтобы принять в себя весь опыт своего наставника и перерасти себя.

Второе значение слова “свобода” мы находим в германских языках. Немецкое, английское *Freiheit*, *freedom* происходят от санскритского слова, которое в глагольной форме значит “любить” и “быть любимым”, а как существительное значит “мой любимый”, “моя любимая”. Ранняя интуиция санскритского языка определила свободу как любовное соотношение двух, причем **любовное** в самом глубоком смысле слова: я тебя достаточно люблю, чтобы тебя не поработить, я тебя так люблю, что хочу, чтобы ты был самим собой до конца, без того чтобы я тебя определял,

тебя менял, чтобы я на тебя влиял. Мне кажется гениальной такая интуиция, которую мы находим в словах, причем настолько древних, что они почти говорят о рождении мысли из чистого опыта. Да, свобода действительно это: состояние, когда два человека так друг друга любят, с таким глубочайшим уважением друг к другу относятся, что они не хотят кромсать друг друга, менять друг друга, они взаимно в созерцательном положении, то есть они друг на друга смотрят как на – говоря уже христианским языком – икону, как на живой Божий образ, который нельзя трогать: перед ним можно преклониться, он должен явиться во всей красоте, во всей глубине, но перестраивать его нельзя.

И третье слово – русское – **свобода**: но тут этимология гораздо более сомнительна, она принадлежит русскому философу А.С. Хомякову и, может быть, не исчерпывающе достоверна. Хомяков производит слово “свобода” от **быть самим собой**.

Возьмите всю эту линию разных слов. Действительно, мы рождены свободными в совершенном смысле слова. Если я собой не владею, я не могу себя дать никому, ни Богу, ни человеку: мы можем получить власть отдать себя в порядке послушания. Это ведет к взаимному отношению с Тем, Кто сказал: не называйте себе никого на земле учителем – **Я ваш единственный Учитель** (Мф. 23, 8) – со Христом. Это – соотношение взаимной любви, когда Бог не “вторгается” в нашу жизнь, когда Он нас не “соблазняет” обещаниями, когда Он нас не порабощает приказами, а нам говорит: Вот путь вечной жизни; **Я – путь**. Пойдешь по этому пути – дойдешь до полноты своего бытия, и тогда станешь самым собой в полном смысле этого слова, богочеловеком, приобщившись Божественной природе, как говорит об этом апостол Петр (2 Пет. 1, 4). И вот когда мы думаем о свободе, о послушании, о дисциплине, мы должны иметь эти вещи в виду, чтобы не превратить свободу в произвол, а послушание в рабство, в результате чего станем на всю жизнь подвластными недорослями, что случается слишком часто.

Я попробую эту тему о свободе связать очень быстро и коротко с мыслью о подвижничестве. Слово подвиг связано с мыслью о движении. Подвижник – тот, кто не остается косным, кто постоянно в творческом состоянии движения. Я не говорю “прогресса”, потому что человек не идет от победы к победе. Есть замечательное письмо святителя Тихона Задонского, где он говорит: в Царство Божие не идут от победы к победе, а большей частью от поражения к поражению, но те доходят, которые после каждого поражения, вместо того чтобы сесть и оплакивать его, встают и идут дальше. Подвиг именно в этом заключается: никогда не сесть оплакивать. Плакать можно по дороге, плакать можно на пути, плакать можно, когда дойдешь до цели, падешь на колени перед Спасителем и скажешь: “Прости, Господи! На всю Твою любовь я ответил цепью измен – а всё-таки я пришел к Тебе, не к кому-то другому...”

Если соединить то, что я говорил о власти над собой, о послушании, о состоянии ученика по отношению к учителю, то ясно, в чем заключается подвиг. Он начинается в момент, когда мы выбираем своего наставника. В конечном итоге этим наставником будет Бог; но раньше чем мы сможем сказать: я в таком общении с Богом, что могу просто слышать, слушать и действовать, – есть целый ряд стадий. Первая стадия, разумеется, – живое Божие слово в Евангелии. Это слово, которое мы можем услышать, но оно не всегда до нас доходит, потому что мы не всегда способны слышать. И поэтому большей частью нам нужно человеческое наставление, хотя бы разъяснение порой: как этот отрывок понимать и как его – это главное – **применять**; потому что мы или берем максималистическую линию и тогда неспособны выполнить то, что сверх наших сил, или наоборот, удовлетворяемся очень немногим и никуда не движемся.

Тут большую роль может сыграть мудрый, опытный наставник, который скажет: вот что значит слово Божие в данном случае; а теперь подумай или подумаем вместе о том, как ты можешь это применить, насколько ты можешь его исполнить, что ты можешь сделать для начала. Потому что если с успехом сделать нечто в начале, следующий шаг возможен; если попытаться сделать невозможное, то второго шага не будет, человек сломится. Но тут надо действительно знать, с кем ты имеешь дело, то есть знать, в каком ты соотношении с данным наставником: он просто твой приходской священник, который исповедует тебя, или он может тебя вести (конечно, в определенных пределах своей ограниченности; я не хочу сказать: глупости или неопытности, я говорю о каком-то пределе, который не охвачен чистой благодатью); или тебе дан старец, который

не нуждается в твоих объяснениях, не нуждается в твоей исповеди, который видит тебя насквозь – как видели людей Серафим Саровский, Амвросий Оптинский, таких примеров сколько угодно и в древней литературе и в опыте наших дней.

А второе – вслушивание в Евангелие. Мне кажется, что очень важно читать Евангелие как бы в духе свободы, то есть с готовностью сказать: это я могу принять, этого не могу принять; это я понимаю, этого не понимаю! – а не стараться воображением создать картину, которой **нет** на самом деле. Я сейчас это разьясню немножко.

Очень часто люди читают Евангелие и отмечают в нем всё, что их обличает, что как бы выявляет их греховность или неправоту. Я думаю, что от этого никакой пользы не бывает; это только вгоняет в отчаяние. Когда на себя смотришь и думаешь: не очень-то я приглядный... – это уже довольно плохо; но когда смотришь в зеркало евангельское, и как бы Сам Бог тебе говорит: да ты посмотри, какой ты духовный урод! – тогда действительно не на что опереться. Так что мой совет: читать Евангелие и отмечать всё то, что нас сродняет с ним. Когда мы читаем какой-нибудь отрывок, у нас могут быть три рода реакции. Есть места, которые нас оставляют довольно-таки спокойными: конечно, Христос лучше знает, поэтому Он, должно быть, прав, но до меня не доходит. Умственно это может быть приемлемо, но меня это не волнует. Есть места – если мы были бы действительно честны, мы бы сказали: “Ой нет, Господи! Ой нет, не для меня!..” Помню старушку одну; я как-то проводил ряд бесед о Заповедях блаженства, и как мы дошли до “блаженны вы, когда будут поносить вас...” – она мне говорит: “Ну, отец Антоний, если вы **это** называете блаженством, я вам его оставляю. Я намучилась достаточно, мне не хочется больше голодать, холодать, быть гонимой; этого **хватит!**..” Она была честная; но мы не всегда так честны. Мы очень часто поступаем точно так, но мы этого Богу не скажем и себе не скажем, а только бочком избегаем этих мест. Так вот, надо быть честными; и, с другой стороны, выискивать места, говорящие о красоте, которая в нас уже есть, о сообразности, которая уже существует между Богом и нами. Пока мы только умственно соглашаемся: раз Бог так говорит, значит, это правда, – до нас это не дошло. А если мы можем сказать: Боже, как это прекрасно! – значит, мы и Бог встретились в этом изречении, в этом образе, в этой притче, в этой заповеди. Мы можем воспламениться радостью, восторгом и, как путники в Еммаус, воскликнуть: разве наше сердце не горело в нас, когда Он говорил с нами на пути? (Лк. 24, 32). На нашем языке это будет значить, что когда мы читаем какой-нибудь отрывок и можем сказать: Господи, как это прекрасно! Боже мой, как это чудно! – это значит, что до нас дошло. И если это случилось, то в этом малюсеньком, может быть, пункте мы можем сказать: я обнаружил свое сродство с Богом... Если думать о себе, как об очень испорченной и поврежденной иконе, это значит: вот здесь во мне остаток, неповрежденный остаток образа Божия, и это я должен хранить, как священную заповедь, в этом я уже в гармонии с Богом; если я нарушаю это, я не только нарушаю мое отношение с Богом, – я разрушаю то, что во мне уже есть Божественного, святого. И тогда начинается подвижничество, потому что эти маленькие – скажем: звезды в ночи должны быть защищены от всякого разрушения; они – как маленькие очаги, которые могут потухнуть; и подвижничество будет заключаться в том, чтобы этот очаг защитить, его как бы кормить, чтобы пламя разрасталось, чтобы два очага соединились в одно большое пламя, может быть, в пожар. Тогда как если вы будете сосредотачиваться только на том плохом, что можно найти в себе (даже без Евангелия, только в зеркало посмотри и довольно), то жизнь превращается в странное упражнение: будто вся она должна сводиться к тому, чтобы с дороги, по которой ты даже не собираешься идти, убирать препятствия. А если цель – дать вырасти тому или другому, что ты прочел в Евангелии, ты неминуемо столкнешься с какими-нибудь противодействиями или с трудностями, и тогда борись с этими трудностями. Но не начинай бороться с теми трудностями, которые не мешают тебе быть собой, потому что, конечно, в Священном Писании можно найти сколько угодно заповедей, которые мы не исполняем, которые нам не естественны. Вот подвижничество, доступное всякому человеку; незачем быть столпником или уходить в затвор, достаточно попробовать быть самим собой в хорошем, в евангельском смысле слова, по образу Христа. Вот подвижничество для каждого отдельного человека.

Как жить с самим собой²⁶

Я хотел бы пояснить, как я понимаю эту тему. Когда я предложил темой нашего съезда в этом году “Как жить с самим собой”, я имел в виду две вещи. Во-первых, многим из нас по большей части почти всегда “неуютно” с самим собой; мы недовольны собой, у нас ощущение острой неудачи, банкротства; а когда вместо недовольства и неудачи мы гордимся собой и чувствуем, что преуспели, то это, может быть, еще хуже.

Во-вторых, есть присловье, что мы можем дать, будь то Богу, будь то людям, только то, чем обладаем сами. Если мы не владеем собой, если мы не хозяева самих себя, мы никак не можем отдать себя; для того чтобы дать себя, надо владеть собой.

И вот я хочу продумать вместе с вами некоторые пути и способы, какими мы можем понять, кто мы есть, и некоторые пути и способы, как, исходя из такого самопознания, нам действовать дальше.

Я хотел бы начать с чего-то, что еще не было затронуто на этом съезде. Когда мы говорим о самопознании, о том, чтобы понять, прозреть, каковы мы есть, мы чаще всего стремимся докопаться до всего, что для нас есть плохого, неладного. По моей привычке говорить примерами, мне такой подход напоминает нечто, увиденное в один прекрасный весенний день много лет назад. Воздух был чистый, небо голубое, деревья были в цвету, птицы пели; и я увидел, как в маленьком дворике перед приходским домом одна старушка нырнула с головой в помойный жбан, разыскивая обрывки бумажек, потому что она помирала от любопытства, что приходит в этот дом и что из него выходит. Для меня это действительно картина того, как множество людей старается докопаться до знания самих себя: это попытка с головой нырнуть в зловонный скарб, который накопился за долгую жизнь, тогда как кругом весна, кругом красота, кругом свет. И мне кажется, что это в огромной мере поощряется многими духовными писателями, духовенством и общим подходом верующих, которые считают своим долгом непрерывно охотиться за злом, за грехом, чтобы найти, что есть неправильного, и его исправить. Я не думаю, что такой подход может принести какие-то плоды или пользу.

Я вам дам другой пример. Если бы нам подарили древнюю картину или икону, поврежденную временем, обстоятельствами, небрежностью или злой волей людей, мы могли бы отнестись к ней двояко. Либо, разглядев всё, что в ней испорчено, плакаться об этом; и тогда это единственное, что мы можем сделать. Либо мы можем всмотреться в то, что осталось от первоначальной красоты изображения; и взглядевшись очень долго, очень внимательно, вобрав в себя всю красоту, какую мы можем в ней прозреть, если только мы способны на такой труд, отождествившись с этой красотой, мы могли бы начать восстанавливать то, что разрушено, как бы распространяя на поврежденные части ту красоту, которая всё еще есть.

Мне кажется, что это очень положительный способ обходиться с тем неладным, что в нас есть, – а именно, начав с той красоты, которая всё еще есть в нас. Потому что **не может** христианину прийти на ум, чтобы образ Божий, запечатленный в нас в акте сотворения, мог бы быть до конца искоренен или уничтожен: он **есть**. Мы – как иконы поврежденные, но всё же иконы; мы всё равно дороги Богу, мы всё равно для Него значительны, и, в сотрудничестве с Ним, мы можем сделать что-то ради этой красоты.

В порядке примера я хотел бы привести еще один образ. Я разговаривал раз с одним скульптором, и он мне сказал: часто люди воображают, что скульптор берет глыбу камня или мрамора, или кусок слоновой кости, придумывает, что он мог бы из него спроектировать, и начинает обтачивать, обтесывать, соскабливать всё, что не соответствует его видению. Это, сказал

²⁶ Доклад на Епархиальном съезде в 1989 году. Пер. с англ. Т.М. Печатается с незначительной правкой по тексту, опубликованному в “Вестнике Русского Западно-Европейского Патриаршего экзархата” (№ 117, 1989 г.)

С 1975 года в Сурожской епархии проводятся ежегодные съезды. Около двухсот человек (больше не позволяет помещение) собираются на четыре дня в загородной школе-интернате; доклады, их обсуждение по группам, обмен мнениями имеет одну цель – осмысление православной духовной традиции в сегодняшнем мире. Каждый съезд посвящен конкретной теме (напр.: Православие в неправославной стране; Православие и экология; Царское священство: роль мирян в Церкви, и др.)

он, не так. Настоящий скульптор смотрит на материал и, глядя на него, вдруг – или постепенно – обнаруживает красоту, уже заключенную в нем, и тогда начинает расчищать, высвобождать эту красоту от всего, что нам и ему мешает ее видеть. Иными словами, статуя уже внутри материала, красота уже внутри; и цель работы – высвободить её от того, что закрывает ее от нас. Это как бы перекликается со словами Ефрема Сирина, который в своих писаниях говорит, что когда Бог призывает человека к бытию, Он вкладывает в самые его глубины всё Царство Божие. И цель жизни в том, чтобы копать, копать неустанно, пока мы не доберемся до этого потаенного сокровища и не усвоим его, не отождествимся с ним.

Всё это говорит о том, чтобы мы разыскивали красоту, несмотря на изуродованность, которая сначала бросается в глаза. Мы часто склонны задерживаться на видимости и за ней не прозреваем сущность. Когда мы с кем-то встречаемся, или даже смотрим на себя самих, мы видим или то, что повреждено, или какую-то внешнюю привлекательность. Но нужен большой опыт (я не говорю о его продолжительности, но о внутренней опытности), чтобы за поверхностными слоями мелочей, обыденности или положительного уродства прозреть ту красоту, которую видит Бог. Отец Евграф Ковалевский говорил, что когда Бог смотрит на нас. Он не выискивает наши успехи или неудачи, которые могут быть, а могут и не быть; но в наших глубинах Он видит Свой Лик, запечатленный в нас Свой образ.

Временами нам удастся уловить красоту; но и тогда мы умудряемся перетолковать ее или отнести к ней неправильно. Много лет назад пришла ко мне поговорить одна молодая женщина; она села в ризнице на диван, повесила голову и с горьким, кислым выражением лица сказала загробным голосом: “Я грешница...” Я ей бодро ответил: “Это не новость, ясно, что вы грешница, – мы все грешны!...” “Да, – сказала она, – но я особенно гнусная...” Я ответил: “Ну, это гордость! Но что в вас такого особенно гнусного?” “Когда я смотрю на себя в зеркало, я нахожу себя очень хорошенькой...” Я сказал: “Ну, это, во всяком случае, правда; и как же вы на это реагируете?” “Тщеславием!...” Я сказал: “Если дело только в этом, то я вас научу, как с этим справиться. Станьте перед зеркалом, взгляните в каждую отдельную черту своего лица, и когда вы находите, что она вам нравится, то говорите: **спасибо**, Господи, что Ты создал такую красоту как мои глаза, мои брови, мой лоб, мой нос, мои уши... – что угодно. И каждый раз, как вы найдете у себя что-то красивое – поблагодарите Бога. И постепенно вы обнаружите, что благодарность вытеснила тщеславие. В результате получится, что, как только вы взгляните на себя, вы будете обращаться к Богу с ликующей радостью и благодарностью. Но прибавьте к этому и еще нечто. Вглядевшись хорошенько в кислое выражение вашего лица, скажите: прости, Господи! Мой единственный вклад в ту красоту, которую Ты создал – это противное выражение лица... Это единственное, что в нем действительно ваше”.

И вот я думаю, что очень часто мы могли бы это делать по отношению к себе самим; не обязательно глядя в зеркало, но размышляя о себе самих, вглядываясь в себя и открывая, **что я такое есть**, когда я не разглядываю только свои провалы и неудачи (и неудачи это или нет – это еще другой вопрос), но смотрю на то, что я есть по существу.

Очень может в этом помочь и отрезвить нас, дать нам возможность понять более правдиво, объективно и трезво, что мы такое есть, чтение Евангелия. Когда мы читаем Евангелие, в нем есть места, которые не волнуют нас. Это, несомненно, правда, – раз Бог так говорит, то иначе и быть не может, но меня это как-то не трогает, не доходит до меня. Другие места или слишком требовательные, или такие страшные, что нам неуютно делается, – они в таком противоречии с нормами окружающей жизни; и мы должны быть готовы сказать Богу: нет, это не для меня; и в первом случае, и во втором – я не сродни Тебе, я не понимаю Тебя, мы с Тобой не заедино...

Но есть места, – их может оказаться немного, но они имеют абсолютно решающее значение для того, чтобы нам найти, понять самих себя, не то поверхностное, светское “я”, которое видят другие или мы видим сами, но подлинное “я”. Это те места, которые, когда мы читаем их или размышляем о них, заставляют нас воскликнуть: “Как это дивно, как это верно! О, какая красота и правда!...” Если мы можем сказать так о какой-либо притче, или действии Христовом, или заповеди – о чем угодно, что мы находим в Евангелии – это значит, что в этом частном случае (и это может быть маленькая крупинка, а может быть и целая область, это обнаружится в

дальнейшем) Бог и я заодно, одной мысли, одного сердца, мы в подлинной гармонии друг с другом: я подобен Богу, Он подобен мне, между нами есть подлинное родство! Я нашел что-то от образа Божия во мне, крупицу моего подлинного “я”, того “я”, которое Бог призвал к бытию, крупицу непотемненную, оставшуюся целой – или уже исцеленную.

Это позволит нам приступить к борьбе за нашу чистоту, цельность, полноту не с усилием, часто бесплодным, отделаться или вылечить то, что попорчено в нас, но оберегая с радостью, с заботливой нежностью, с благоговением что-то, что в нас уже Божие (у меня на языке было “что уже Бог”), воочию зримое – свет, который пробивается сквозь тьму и который уже **есть** Сам Бог.

В таком случае, когда мы стараемся преодолеть свое поверхностное, светское, заgrimированное “я”, перед нами стоит конкретная задача: никогда, **никогда** не нарушить и не изменить **этой** красоте, которую мы в себе обнаружили. Это может быть одна, две, три, пять малых крупиц, но **эти** крупицы священны, мы должны оберегать их и, как защищают огонь, не дать ему угаснуть, дать ему постепенно затеплится всё остальное вокруг, защищая его, действуя в согласии, заодно с ним, становясь всё более и более человеком, для которого это **подлинная** природа, в отличие от других наших склонностей и увлечений.

И когда мы обнаружили в себе такой элемент Божия образа, одновременно обнаруживаются и те вещи, которые находятся в противоречии с ним, которые с ним несовместимы, которые должны **уйти**, потому что они кощунственны, потому что они уродуют образ Божий, потому что они загрязняют что-то священное и святое в нас. Но тогда труд становится конкретным, труд становится захватывающим и вдохновляющим, потому что мы не гонимся за каким-то надуманным совершенством; это совершенство, которое мы воочию увидели, которое уже есть и которое мы станем стараться защитить и дать ему расти. Знаете, как бывает, когда вы пытаетесь разжечь костер из сырых веток: вы отыщите сначала несколько сухих сучков, дадите им разгореться; и пока они горят, они высушивают несколько веток вокруг, которые в свою очередь разгораются и высушивают дрова дальше. И если вы будете оберегать этот разгорающийся огонь, постепенно разгорится и весь костер. И тогда, в категориях, в измерениях Священного Писания, огонь, который вы начали с одной спички и одной веточки, может стать **купиной неопалимой**, горящей в пустыне.

Конечно, мы не можем остановиться только на этом; нам надо додуматься и до других вещей в нас самих, с которыми мы можем бороться в порядке общей нашей борьбы за цельность, за исцеленность, за восстановление образа Божия в нас. Мы все знаем о каких-то своих слабостях и недостатках, и нет никого из здесь присутствующих, да и во всем мире, кто не видел бы в себе чего-либо неладного. Возвращаясь к примеру той женщины, о которой я говорил выше: наряду с её ложным смирением, было у нее и тщеславие, была гордость, был страх, была неопытность в духовной жизни и умственная путаница, и борьба. Каждый из нас может посмотреть на самого – или на самую – себя и поставить вопрос: что во мне неладного? Что есть такого, что я сам, я сама вижу как внутреннюю дисгармонию?.. Все мы делаем это периодически; все мы идем к исповеди время от времени: все мы приносим на исповедь те или иные свойства, которые нам самим представляются уродливыми. И эти свойства выходят наружу в разных обстоятельствах. Они проявляются, выходят наружу в нашем отношении к людям вокруг нас; они выходят наружу в нашем отношении к самим себе; они выходят наружу, когда мы обнаруживаем, как мы относимся к Богу. Например, пришло время молиться, а у нас нет желания встречи с Ним; мы можем заставить себя прочитать молитвы, и если мы их знаем наизусть, мы можем сделать это на большой скорости, полагая, что Богу нравятся псалмы и, значит, Ему будет приятно услышать еще один псалом. Или понимая, как красивы эти молитвы: они, как пламя, вырвались, как кровь, хлынули из сердца великих святых; если я вычитаю их Богу, Ему, вероятно, будет приятно, так же как аудитории нравится слушать чтение поэзии или исполнение шекспировской драмы! Это вовсе не так... Но когда мы поймем, что это не так, мы можем повернуться к Богу и сказать: **Какой позор!** В ответ на реальную, личную, глубокую любовь, которую Ты явил мне в жизни, смерти Господа Иисуса Христа, через них – в ответ на всё это я говорю: “Ох, только не сегодня! У меня сейчас что-то такое увлекательное; книжку надо дочитать”... Или: “Надо же отдохнуть”... Или

просто я как-то не расположен к встрече: “Нельзя ли отложить, пока у меня будет более подходящее настроение? Ты же вечен, Ты можешь подождать!..”

Затем мы можем себе ставить вопросы – как мы это делаем перед исповедью – о том, как мы относимся к людям вокруг нас.

Одновременно, и в том и в другом случае, как дополнительное упражнение, мы можем ставить себе вопросы о себе самих: как я отношусь, как я обращаюсь с самим собой? Как я обращаюсь со своим умом, со своим телом, со своим сердцем, со своей волей в моем поведении и поступках и в моих отношениях с окружающими людьми? И это будет уже **очень** много; потому что если мы честны, то всё это даст нам печальный и богатый материал о том, что в нас есть или неладного или даже прямо злого.

Но если этого недостаточно, то мы можем спросить себя дальше: “А что думают обо мне люди?” Этот вопрос мы себе ставить не любим; а если и ставим его, то обычно считаем, что те, которые хвалят нас – люди глубокие и проницательные, а те, которые не хвалят, которые критикуют или не любят, те, наверное, упустили из вида что-то существенное: они, наверное, слепы, или уж очень злы, – ведь “блаженны чистые сердцем...”! Так вот, очень полезно оглядеться и спросить себя: “А что люди думают обо мне?” И когда у вас получится список того, что вам **известно** о мнении людей (а вы не знаете и половины того, что они думают, и того, что говорят за вашей спиной, но ограничьтесь хотя бы тем, что доходит до вас), нужно задать дальнейший вопрос, который очень, очень важен: справедлива ли похвала тех, которые хвалят нас? Или они ошибаются просто потому, что любят меня, или обманываются, потому что я лицемерен и умею показать им такое лицо, которое вводит их в заблуждение? С другой стороны, в чем-то похвала может быть и справедливой, и тогда это можно прибавить к списку тех блёсток образа Божия, которые я нашел через чтение Евангелия: еще одна частица правды, которая принадлежит “подлиннику”, – моему если и не до конца, то более подлинному “я”. Другие люди меня критикуют: правы ли они? Ошибаются ли они? Иногда люди критикуют, потому что они прямолинейны, потому что они правдивы, потому что у них есть и проницательность, и резкость; иногда же они критикуют других, потому что сами лицемерны, скользки и т.д. Так вот, спросите себя: что люди думают обо мне, что они говорят мне в лицо и что – за моей спиной? А сплетни доходят до нас очень легко! До меня столько доходит мнений людей, которые **вовсе не собирались** сообщать мне, что они обо мне думают!

Это тоже дополняет картину того, чем вы являетесь. И когда вы соберете итог всему этому знанию, вы можете начать бороться с тем, что в вас есть неправды, и закреплять то, что в вас **правда**. Укрепление правды начинается, собственно, с того, чтобы заслонить, защитить, как бы руками оградить огонь, чтобы ветер не задул его. Дальше укреплять можно тем, чтобы заботливо обхаживать, окапывать и поливать зерно или росток, как это делает садовник... Борьба же против неправды начинается с того, чтобы себя спросить: **сколько** я могу сделать, чтобы воспротивиться ей? Я помню свою первую исповедь у отца Афанасия. Я пришел к нему, к монаху-подвижнику, и думал: вот, я поисповедуюсь, и он мне точно скажет, что надо сделать, чтобы стать святым, – это путь самый прямой и быстрый... Когда я кончил исповедь, он мне сказал: вот что надо было бы сделать; а теперь постой, подумай, а потом скажи: сколько из этого ты **готов** сделать и **способен** сделать?.. И я был разочарован. А потом я обнаружил, что он был прав, потому что со **всей** задачей я бы не справился, но тут я мог начать, как мышь, натачивать зубы на края, чтобы убрать меньшие элементы, которые мне были под силу, пока я не наберусь больше сил и не смогу взяться за большее.

И так, обнаруживая свое подлинное – или относительно более подлинное – “я”, и вслед за этим – уродующие его элементы, мешающие нам быть тем, что мы есть по существу, мы можем постепенно получить видение и понимание того, что мы есть на данный момент, и из него потом двигаться в следующий момент.

Одна из вещей, которых мы должны избегать, это стремиться обнаружить больше, чем сейчас действительно стоит на нашем пути. Есть очень замечательный отрывок в сочинениях Иоанна Кронштадского, где он говорит, что Бог дает нам видеть неправду в нас, лишь когда Он обнаружит, что в нас есть достаточно веры и достаточно надежды, чтобы быть способными на

такое лицемерие; прежде мы сломились бы под его тяжестью. Поэтому, если сегодня мы видим себя более уродливыми, чем видели вчера, мы можем быть уверены, что это новое задание, которое Бог поручает мне, потому что теперь. Он мне может доверять больше, чем прежде; до этого я еще был слишком хрупок и неспособен видеть, теперь же Он говорит: ты достаточно силен, чтобы выдержать это, – справляйся!

Всё это раскрывает нам постепенно очень многогранную картину о нас самих и позволяет бороться на двух уровнях: с одной стороны, чтобы нам становиться всё больше и больше **Купиной Неопалимой**, и с другой стороны – искоренять всё, что стоит на пути к нашей цельности, исцеленности.

Разумеется, что это можно делать только в просвещающем свете Божиим: Один только Бог может нам открыть наше родство с Ним, открыть нам, что мы – Его образ, что мы подобны Ему в том или другом; Один только Бог может пролить луч **Своего** света, в котором мы увидим темноту или зло в самих себе. И когда мы всё это обнаружили, мы можем начать думать о том, чтобы **овладеть** своей душой, бороться властно и побеждать. Конечно, мы не всегда будем победителями, но мы будем на Божией стороне и вместе с Ним. И тогда, если мы поняли всю красоту, какая в нас есть, и всё, что в нас есть уродливого, мы можем взять это всё и целиком, охапкой отдать Богу. Принести Богу то, что прекрасно, что правдиво, что цельно, не составляет проблемы; но как быть с тем, что и не красиво, и не праведно, и не цельно? Те из вас, кто читал “Дневник сельского священника” Жоржа Бернаноса, помнят, может быть, разговор этого молодого священника с пожилой графиней, полной горечи, полной гордости, полной надменности и разочарования. Он говорит ей, что есть только один выход: **отдаться** Богу. Она возражает: но мне нечего дать, всё что у меня есть – гордость, горечь, озлобление!.. И тогда он говорит ей: отдайте **это** Богу, если нечего отдать другого; бросьте Ему в руки всё это, и пусть **Он** поступит с этим по-своему...

Мы ничего не можем достичь собственным произволением, собственной силой. Христос ясно говорит: без Меня вы не можете ничего... Нам нужна не та сила, которая требуется, чтобы справиться с материальными обстоятельствами жизни, потому что эта область борьбы – вне такого рода сил. Апостол Павел, который знал о предстоящем ему служении, молил Бога о силе, и Господь ему ответил: Моей благодати тебе довольно, Моя сила проявляется в немощи... Какая же это немощь? Не расслабленность, не лень, не беспечность – нет! Но податливость ребенка, доверчиво себя отдающего в руки матери; хрупкость того, что прозрачно; гибкость того, что может принять силу извне: как парус наполняется силой ветра и несет тяжелый корабль через моря; а парус – самая хрупкая снасть корабля. Перчатка хирурга – самое хрупкое, что только можно себе представить, а она может творить чудеса, если ею действует умная, опытная рука. Вот в такой “слабости” Бог может совершить Свою силу. И если мы дадим Ему так действовать, то многое действительно может стать реальностью. Тот же Павел, после этих слов Христовых, прибавляет: поэтому ни о чем не буду ликовать, кроме как о слабости моей, так, чтобы всё было силой Божией... И в другом месте он говорит еще: все мне возможно в укрепляющей меня силе Христовой....

Вот что мне хотелось передать вам. Действительно, нет разделения между физическим, душевным и духовным, хотя каждое из этих начал имеет свою функцию и свое место; но они взаимосвязаны, взаимопереплетаются. Но у нас есть власть над их сердцевинной: той областью в теле, в чувствах, в эмоциях, в движениях воли, которую сознательным усилием мы можем обнаружить, осознать. И если мы раскроем сознательно это “сердце” действию силы Божией, тогда благодать и сила Божии смогут хлынуть в нас, изменить нас и, поистине, преобразить нас.

О встрече²⁷

Тема, на которую я хотел бы сегодня говорить, сейчас все больше и больше входит в сознание людей, которые вчитываются в Евангелие и испытывают на самом деле **встречу** на всех уровнях и во всех направлениях. Вам, наверное, ясно, что в нашем мире тема встречи стала

²⁷ Беседа в Москве в 1968 году. Напечатана в журнале "Новый мир" (1992, № 2).

гораздо более универсальной и часто гораздо более острой, чем это было в старом мире. Универсальнее она стала потому, что возможность встречи между людьми, которые, скажем, до первой мировой войны никогда и не мечтали бы встретиться, стала или легкой, или случайной, но, во всяком случае, постоянным явлением. И с другой стороны, встреча стала гораздо более острой, потому что тогда люди были разные по национальности, по языку, но такой разобщенности (и такой общности), как теперь, не было. Не было разделения на непримиримые и сталкивающиеся идеологии, которое появилось уже после первой войны. И вместе с тем не было того сознания **всечеловечества**, которое постепенно нарастает везде, на всех континентах, и ощущается на каждом шагу, особенно среди молодежи; молодые люди на Западе все больше и больше сознают, ощущают себя не членами обособленных этнических или государственных групп, а просто **людьми**, и тот мир, который они сейчас хотят строить, это мир **человеческий**, а не национальный, или классовый, или принадлежащий той или иной культуре. И вот в связи со всеми этими переживаниями тема встречи всплыла по-новому в сознании очень многих, а когда всплывает какая-нибудь тема, то все, что видишь, все, что читаешь, видишь и читаешь в ее свете; и сейчас большое внимание уделяется именно теме и проблеме **встречи**, как она раскрывается в Евангелии.

Если вы отрешитесь от обычного чтения Евангелия и прочтете его новыми глазами, посмотрите, как оно построено, то вы увидите, что, кроме встреч, в Евангелии вообще ничего нет. Каждый рассказ – это встреча. Это встреча Христа с апостолами, апостолов с какими-то людьми, каких-то людей со Христом, каких-то людей в присутствии Христа, каких-то людей вне Христа, помимо Христа, против Христа и т.д. Вся евангельская повесть построена именно так. Это конкретные, живые встречи; каждая из них имеет универсальное значение в том смысле, что, конечно, встреч было в тысячу раз больше, но выделены в евангельский рассказ лишь те, которые имеют столько возможно абсолютное, всеобъемлющее значение, являются как бы **типом** встречи или такой ситуацией, таким положением, в котором, словно в зеркале, множество людей может посмотреть на себя, а не только единичным событием, которое однажды случилось и было настолько исключительно, что не применимо более ни к кому. И вот эта тема встречи, мне кажется, очень важна, потому что, конечно, встреча продолжается; продолжается встреча с Богом, продолжается встреча между людьми, продолжается встреча людей перед Богом и людей вне Бога. И все это – евангельская тема.

Если задуматься, то можно, мне кажется, выделить две-три темы, два-три момента. Во-первых, встреча со Христом, или, если предпочитаете, с Богом во Христе; это та встреча, которую мы видим постоянно, она бежит красной нитью через все Евангелие. Встреча учеников с Тем, Кто станет сначала их Учителем, Наставником и потом – их Богом. Встреча эта происходит различно, и на этом, может быть, стоит немного остановиться.

Типичная встреча нам показана в начале Евангелия от Иоанна: народ собрался вокруг Крестителя; вместе с Предтечей стоят двое его учеников – Андрей и Иоанн. Подходит к Иордану Христос, тогда еще никому как таковой не ведомый, Который пока для всех только Иисус из Назарета. И Иоанн приносит свое свидетельство: **вот Агнец Божий, Который берет на Свои плечи грех мира** (перевод мой свободный, но передает то, что в греческом тексте содержится).

И вот первое событие: два ученика Иоанновых именно потому, что они поняли проповедь своего учителя, потому, что до них дошло, что Иоанн пришел **предтечей**, предваряющим лицом, а за ним идет Большой, нежели он сам, потому, что они совершенные ученики Иоанновы, покидают своего учителя. Это трагический момент, ибо уйти от своего учителя **потому именно**, что ты понял: он должен малиться, дабы рос тот, который вновь явился, он должен сойти на нет ради того, чтобы другой вырос в полную меру, – трудное дело.

Это первая ситуация. Люди подготовленные уходят, отрываются от того, что **самое** было для них дорогое, и идут вслед Иисусу потому только, что Иоанн сказал: это **ОН**. Христос оборачивается, спрашивает, что им от Него нужно, они Ему отвечают: мы хотим увидеть, где Ты живешь, – и проводят целый день с Ним.

Так совершилась встреча лицом к лицу там, где Христос жил. И едва ли речь идет о том, что им захотелось просто посмотреть, в той или другой хижине живет Христос: они хотели прийти туда, где Он живет, в то место, где все Им дышит, в то место, которое несет какой-то отпечаток

Его присутствия. Там они Его нашли. И первое их действие – призвать своих друзей, родственников: Андрей зовет своего брата Петра, Иоанн зовет своего брата Иакова, оба зовут своего друга Филиппа. Филипп зовет своего друга Нафанаила. Так образуется целая цепь отношений, и эта первичная встреча начинает расцветать в целое дерево взаимоотношений, которые все основаны на встрече. Если бы Петр не был братом Андреевым, Иаков – братом Иоанновым, если у них не было бы встречи и дружбы с Филиппом, встречи и дружбы с Нафанаилом, они не вошли бы в этот круг и не дошли бы до этой основной встречи со Христом.

И вот они приходят, они Его открывают; открывают Его каждый по-своему. Один из них приносит особенное свидетельство; это Нафанаил. Когда он подходит ко Христу, Спаситель говорит: **вот израильтянин, в котором нет лести.** Нафанаил отзывается: как Ты это знаешь? И следует странный ответ: **Я видел тебя под смоковницей.** Какая тут связь? В житии святого Нафанаила говорится, что он был из тех, кто чаял прихода Мессии; в момент, когда он был позван Филиппом, он молился и звал этот приход, и слова Христа для него были совершенно ясны, почему он и говорит: **Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев,** – ибо **знать**, что тогда происходило между ним и Богом, мог только Бог.

Вот первый ряд встреч. Причем надо подчеркивать постоянно, надо сознавать, как важны были эти основоположные простые человеческие отношения родства, простой человеческой здоровой деревенской дружбы и как важны и драгоценны все наши человеческие отношения, как они могут сыграть решающую роль в абсолютных событиях нашей жизни. Как нам надо воспринимать и бережно, и вдумчиво, и целостно все отношения, какие у нас есть; потому что каждое отношение определяет ситуацию, которая может расцвести в чудо – в чудо встречи с Богом.

И вот тут случается нечто другое. Если бы Христос был политическим вождем, Он бы сразу воспользовался вдохновением, восторгом, преданностью Своих учеников для того, чтобы их призвать к делу: идите, призывайте других, приводите других!.. Кого других? Тех людей, с которыми нет никаких отношений? Тех людей, с которыми встречи еще не было на других началах, на началах простой человеческой любви или дружбы?.. Христос этого не делает. Христос их отсылает домой; они идут обратно в Галилею, а Христос уходит в пустыню. Встречаются они около двух месяцев спустя: сорок дней Спаситель провел в пустыне, сколько-то времени Он потратил на путешествие обратно в Галилею. И тут осуществляется то, о чем, кажется, кто-то из ветхозаветных пророков говорил: Бог зовет нас раз и зовет два... Первый раз Он позвал этих людей, встал перед ними, они что-то увидели, и Христос их отпустил с миром: идите. Второй раз встреча иная. Прошло два месяца; они успели остыть, поражающие впечатления проповеди Иоанна, встречи со Христом на Иордане, беседы у Него на дому, первых встреч и первых ученических взаимоотношений с Ним – все это отошло куда-то. И вот теперь Христос проходит мимо озера. Там Его ученики чинят свои неводы. И Христос не делает ничего, чтобы им напомнить о случившемся, Он не делает ничего, чтобы возбудить в них то настроение, которое, может быть, и погасло. Теперь то, что было вдохновением, стало ясным, спокойным воспоминанием. Христос подходит и говорит им: **следуйте за Мной.**

Если все прежде бывшее отложилось в их душе как достоверное, безусловное воспоминание о чем-то совершенно реальном – они пойдут; если за это время случившееся затуманилось, начало приобретать неопределенные контуры, если у них впечатление, что это было мгновенное вдохновение, разбившееся о серую жизнь, которой живешь, – они не встанут. Вдохновенных людей Христу не нужно. Ему нужны люди, которые живут спокойным, хрустально-ясным, глубоким убеждением, люди, которым Дух Святой может дать вдохновение, но которые не живут своим человеческим восторгом. На этом построить нельзя. И они следуют за Ним.

Это одна встреча. Другую встречу вы помните: апостола Павла на пути в Дамаск, когда лицом к лицу он оказался с Тем, Который умер, о Котором ученики (по его убеждению – ложно) проповедовали, что Он воскрес, с Тем, Кого он шел разоблачать и обличать в Дамаск. И вдруг Тот, Который был мертв, стоит живой перед ним, в славе небесной... Это другого рода встреча. Если вы прочтете Евангелие, то увидите массу такого рода встреч.

И вот мне хотелось бы сделать одно общее замечание. Когда мы читаем Евангелие, мы должны помнить, что каждый рассказ представлен нам вполне конкретно; **мы** могли бы быть частью этой толпы. Что же было тогда? Христос с кем-то завязывал разговор, или кто-нибудь к Нему обращался с вопросом. Христос отвечал. В этой толпе были люди, для которых и вопрос и ответ имели смысл; и тогда все, что говорилось между Христом и этим человеком вслух, было воспринято теми немногими (а может, и многими), для кого это было ответом на живой, конкретный, насущный вопрос. Много было, вероятно, и таких, для кого самого вопроса не существовало, а потому не существовало и ответа. И нам надо быть очень осторожными, чтобы не вообразить, будто все сказанное в Евангелии, просто потому, что это пропечатано в этой маленькой повести о Христе, относится непосредственно к нам. Да, оно относится к нам, но необязательно сейчас, необязательно полностью; оно относится ко **всякому** человеку, но разное и в разные времена.

Тут есть критерий, и критерий этот мы находим тоже в Евангелии. Помните путников, идущих в Еммаус? Христос к ним приближается, они заводят беседу и, когда Христос им открылся в преломлении хлеба и стал невидим, они друг другу говорят: **разве наше сердце не горело в нас, когда Он с нами говорил на пути?** Когда мы читаем Евангелие и какая-то фраза, какой-то образ, рассказ так ударяет нас в душу, что сердце загорается, ум делается светлым, вся наша воля подвигает нас последовать этому слову, мы можем уверенно сказать: Христос это сказал мне в течение разговора с другими; тогда сказанное мне лично я должен воспринять всецело, до конца, как встречу, в которой Христос ко мне обратился с требованием, с мольбой, с советом, с просьбой, – и уже поступать соответственно.

Таких встреч множество. Эти встречи были или встречами со Христом: богатый юноша, сотник, прокаженные, всякие люди, – или людей друг с другом около Христа, потому что толпа вокруг Христа была толпа пестрая, разнообразная, где люди, чуждые друг другу по всему, встречались и иногда уже больше не разлучались. Так постепенно собралась группа из двенадцати апостолов, а не из пяти, из семидесяти учеников, группа окружавших Его людей, все шире и шире.

Но встреча со Христом играет и другую роль. Христос пришел принести **меч, а не мир**, разделить, а не только соединить. Христос пришел как камень преткновения; одни Его приняли, другие Его отвергли. Одни от встречи ушли, другие через встречу пришли к Богу. Одни увидели новое откровение о Боге, невысказанное: Бога беспомощного, уязвимого, смиренного, как будто побежденного, – и увидели, что только в этом действительно Божественная слава; другие, увидев Бога, или, вернее, услышав проповедь о том, что **таков** Бог, отвернулись, потому что такого Бога они себе не захотели.

И есть одна встреча, не евангельская, о которой я хочу вам рассказать, потому что она, по моему, бросает некий свет на целый ряд вещей. Отцы пустыни говорили: **кто видел брата своего, тот видел Бога своего**. Часто, встречая человека страждущего, измученного, мы делаемся способными увидеть хоть в какой-то малой мере Бога через него. Но я хочу вам рассказать о другом: иногда лик страдания **безобразен**, лик страдания отталкивает нас. Однако и это может нас привести к сложной встрече именно со Христом и к пониманию чего-то по отношению к человеку и ко Христу. После освобождения Парижа стали искать и выискивать, ловить и вылавливать тех людей, которые сотрудничали с немцами, предавали и продавали других людей на смерть и на муку. Такой человек был и в том квартале, где я жил, и он сыграл очень страшную роль в судьбе многих людей. Его нашли и словили. Я выходил из дому, и шла толпа: этого человека влекли. Его одели в шутовскую одежду, сбрили волосы с полголовы, он был весь покрыт помоями, на нем были следы ударов, и он шел, окруженный толпой, по тем улицам, где занимался предательствами. Этот человек был **безусловно** плох, безусловно преступен; какой-то суд над ним и суждение о нем были справедливы. Через некоторое время я оказался в метро и ждал, пока придет поезд; и вдруг мне стало совершенно ясно, что именно так какие-то люди видели Христа, когда Его вели на распятие...

Мы видим во Христе Божественного мученика, но тысячи людей видели в Нем другое. По их мнению, этот человек возмущал народ, был политической опасностью, потому что из-за него римляне могли прийти, занять всю страну и взять все в свои руки, оккупировать ее; он был

смутьян и в области веры, проповедовал кощунственный образ Бога; он был взят, его судили, его – как, вероятно, и теперь – били и наконец осудили на смерть. Точно та же самая картина, никакой разницы. Разница начинается там, где появляется наша вера во Христа и где мы видим Его новыми глазами. Но просто **глазами** можно было видеть тогда, в Иерусалиме, – битого, измученного человека, идущего под конвоем, с кнутами на казнь, которую Он заслужил.

Тут совершается встреча совершенно другого рода: встреча человека с человеком, но в свете Христа или под сенью креста. Такого человека христианин не может просто воспринять как преступника, который идет к заслуженной казни. Потому что он как бы проектируется на фон другого человека по имени Иисус из Назарета, о Котором думали точь-в-точь то же самое, к Которому отнеслись так же, Который тоже умер. И тут поднимается вопрос о том, как мы можем в свете этого судить о человеке и судить человека... На разных планах – разное; об этом я сейчас говорить не хочу, но это видение обезображенного человека, это видение страдания **отвратительного** мы должны тоже воспринять как встречу.

Встречи, о которых я только что говорил, – евангельские встречи, драматические встречи, – нам даны, брошены на наш путь, мы никуда от них не можем уйти, но жизнь состоит не из драматических встреч, а состоит из того, что мы постоянно, из часа в час встречаем людей – и не видим их, не слышим их и проходим мимо. **Мы** встретились сейчас без всякой драматичности, но мы **встретились**, мы друг другу посмотрели в глаза, мы друг другу открыты, мы друг друга хотим встретить. А часто ли это бывает? Сколько раз бывает не только мгновенная встреча, совершенно пустая, вещественная, или коллизия, где два человека столкнутся и разойдутся, но и просто прохождение мимо, когда мы видели только анонимность проходящего человека; он – никто, это была тень, у него не было личности, не было существования, ничего не было, потому что он даже физически не вошел с нами в соприкосновение, и, значит, его **нет**. И, однако, весь упор евангельской проповеди, евангельской встречи, весь упор апостольской встречи в том, что каждая встреча может быть во спасение или нет и тому и другому. Причем встречи бывают разные: поверхностные, глубокие, истинные, ложные, во спасение, не во спасение, – но все они начинаются с того, что человек, у которого есть сознание евангельское или просто острое, живое человеческое сознание, должен научиться **видеть**, что другой существует. И это бывает редко, **очень** редко.

Подумайте о себе: много ли случалось у вас на пути людей, которые вас **замечали** в минуту, когда вам это нужно было, когда у вас было горе, когда была нужда? Мы не видим людей. Часто мы можем их описать, но только внешность; мы воспринимаем физическую оболочку – и только; мы ею часто дорожим – и только. А того, чем светится человек, мы даже не замечаем; мы смотрим на лампу и расцениваем ее материал и работу, которую в нее вложил художник, а то, что она светится, нам почти что даже неинтересно, или что она темная, мы не замечаем.

И вот первое: надо в себе развить способность каждого человека, кого встречаешь, – **встретить**, каждого человека **увидеть**, каждого человека **услышать** и, кроме того, признать, что он имеет право на существование; и это бывает опять-таки очень редко. Большею частью мы относимся друг к другу, к тем, кто нас окружает, как к обстоятельствам нашей собственной жизни. Мы – в центре, и вокруг нас движутся – или не движутся – явления; предметы не движутся, а звери и люди движутся – вот часто и вся разница. Мы знаем, что такой-то человек нам пригоден, а такой-то непригоден, от такого-то бывают неприятности, а от такого-то их не бывает; если хочется получить тепло или дружбу, я к этому пойду, так же как я иду к печке, чтобы согреться, или в булочную за хлебом, – и все, и ничего другого. Таково, я бы сказал, постоянное отношение каждого из нас к какому-то числу людей. Значит, объективного существования мы за ними не признаем. Мы бываем по отношению к ним милостивы, милосердны, дружелюбны – все это в лучшем случае, конечно. Но что это значит? Это значит, что той **челяди**, которая вокруг нас, мы уделяем сколько-то внимания: как мы натираем воском шкафы или столы, так мы при случае можем одарить кого-нибудь улыбкой или добрым словом. Если у нас есть какое-то постоянство в этом, нас даже могут счесть за хороших друзей, – и все равно не было дружбы, потому что дело не в том, как мы обращаемся с **предметами** вокруг нас, а в том, что это не предметы, а **люди**, и каждый из этих людей имеет право быть самим собой, а не только частью моей жизни. И этому

учиться надо. Это настолько трудно и, я бы сказал, часто настолько неприятно, что приходится учиться. Гораздо удобнее признавать в человеке только ту сторону, которая к нам обращена улыбкой. Но беда-то в том для нашего себялюбия, что есть другая сторона, что человек существует не только тогда, когда он с нами, вокруг нас, около нас, для нас существует. У него есть целая жизнь **вне нас**.

Мы часто говорим, что справедливость заключается в том, чтобы уделять другому человеку то или иное. Справедливость начинается не тут, справедливость начинается там, где мы говорим, что этот человек существует **совершенно** вне меня, что он имеет право существовать совершенно вне и даже против меня, он имеет право быть самим собой, как бы это ни оказалось неудобным, мучительным, убийственным для меня. Если эту меру справедливости мы не применяем, тогда все остальное – подачки, а не справедливость. Это раздача каких-то наград, каких-то благ, но не отношения с человеком. И вот, значит, первое: признать за человеком его право на собственное существование, развить в себе способность отстраниться и посмотреть на человека – **не по отношению ко мне**, а увидеть человека **в нем самом**: каков он, что он? – и сообразить (чего мы не любим делать), что если бы нас вообще и на свете не было, он бы все равно существовал или мог существовать, и что наше существование вовсе не является для него величайшим благом, каким его одарил Господь.

А во-вторых, надо уметь смотреть, чего мы тоже не умеем. Мы все умеем глядеть перед собой и что-то воспринимать, но что мы **видим**? Мы видим два рода вещей: те, которые нам сродни, которые нам подходят, или которые нас отталкивают; человек нам или симпатичен, или нет. Но эти две крайности, или два аспекта человека его отнюдь не исчерпывают. Он не сводится к тому, что в нем есть вещи, которые мне нравятся и которые не нравятся, вещи, которые для меня опасны или благотворны. Но чтобы видеть человека безотносительно ко мне самому, надо уметь отрешиться **от себя**.

Есть английский писатель Чарльз Уильямс, автор целого ряда религиозно-философских романов. В одном из них он описывает посмертную судьбу молодой девушки, внезапно убитой при падении самолета, когда она проходила по мосту. В какой-то момент рассказа эта девушка находится на берегу и смотрит на воды Темзы. Когда она была жива, все ее телесное естество испытывало отвращение при мысли, что к этой грязной, жирной, тяжелой, свинцовой воде, где плавают все, что отбрасывает и выбрасывает город, можно прикоснуться, что этой воды можно напиться. Тело ее стояло преградой между ней и ее способностью просто смотреть и видеть. Теперь она бестелесная стоит и смотрит, и первое, что она видит, – темные, грязные, густые воды, которые текут мимо нее. И так как она уже телом своим не может испытывать к ним отвращения, она их видит как они есть; это факт вне ее, а не факт, относящийся к ней. И дальше: это **факт**, который вполне соответствует тому, что должно быть. Таковы должны быть воды реки, проходящей через большой город. Она ощущает полное соответствие всего. И в тот момент, когда она вдруг это признает, она начинает прозревать что-то. Она через этот первый слой сгущенности начинает прозревать слой за слоем более чистый, более прозрачный и постепенно где-то в сердцевине Темзы видит ручей неоскверненно чистой воды, и дальше, в сердцевине этого ручья, она вдруг видит **Воду**, ту Воду, о которой Христос говорил с самарянкой у Сихема.

Что случилось? Она смогла посмотреть на воды Темзы **безотносительно**, просто посмотреть и увидеть их не по отношению к себе, а по отношению к ним самим; и в этот же момент она стала способна через темноту видеть свет. Мы обыкновенно поступаем наоборот: мы видим свет, а когда все больше вглядываемся, видим темноту, и она все сгущается. Здесь случается что-то обратное, и этому мы должны научиться в течение всей нашей жизни по отношению к людям: в тот момент, когда мы отрешаемся от суждения, мы начинаем делаться способными видеть вглубь, обнаруживая там, в глубине, все больше лучей света, а не наоборот.

Это – видение. Надо научиться и **слушать**. Это тоже трудно, потому что слушать значит согласиться на то, чтобы содержание другого человека стало нашим достоянием без **процеживания**. Слушать человека, не откидывая то, что мне не сродни, что мне оскорбительно, отвратительно, что для меня неприемлемо. Слушать по-настоящему это значит приобщиться, принять в себя все, что этот человек изольет, и это **пережить** именно в какой-то тайне

приобщенности, общности жизни. В некотором отношении мы это делаем легко. Скажем, те люди, которые любят музыку, отдают себя ей, открываются ей, чтобы потоки чужого опыта стали через музыку их достоянием. Но это гораздо труднее делать, когда человек говорит прозой и говорит о вещах, которые сами по себе совсем неприглядны или ранят. Для этого надо согласиться сначала на какую-то долю, а потом на окончательную, полную приобщенность (а значит, и растерзанность).

И вот из этого получаются встречи. Эти встречи очень неодинаковы. Есть встречи животворные, есть встречи терзающие и убийственные. Но как бы то ни было, в каждой настоящей встрече нам дано прозреть что-то в человеке, что не есть тьма, а есть истинный человек в нем. Иначе встреча не состоялась. В этом отношении очень интересна православная служба венчания. В ее начале, в первой молитве обручения упоминаются Исаак и Ревекка. Это не случайно и не по церковной любви вспоминать лиц Ветхого Завета, а потому что Исаак и Ревекка как обрученные находятся в совершенно исключительном положении: они были друг другу **даны Богом**. Вы помните, что, когда вырос сын Авраама Исаак, отец захотел найти для него невесту и послал слугу в Месопотамию, чтобы найти по знаку Божию кого-то, кто был бы Богоданной невестой, и как Господь открыл слуге Ревекку. Это Богоданность нам открывается и иначе, необязательно в том или другом внешнем знаке, она дается в знаке, который никто не может ни с чем перепутать, – в любви. Любовь сказывается вот в чем: в человеке мы вдруг прозреваем что-то, чего никто не видел; человек, который проходил незамеченный, оставленный, отброшенный, чужой, человек, который был просто в массе человечества, вдруг нами замечен, делается значительным, единственным и приобретает в этом смысле окончательное значение. Вы, наверное, знаете не меньше меня, как это бывает: в вашей среде есть кто-нибудь, кого никто не замечает, кто существует в лучшем случае только как составная часть группы, если не существует где-то на краю; и вдруг кто-то на него посмотрит и его **увидит**, и тогда этот человек приобретает реальное существование.

Один из греческих отцов замечательно выразил это; он говорит: пока юноша никого не полюбил, он окружен молодыми людьми и девушками. Когда он увидел свою невесту, он окружен только людьми, потому что **этот человек стал единственным**, а остальные – только людьми, они не принадлежат к той же категории взаимных отношений; причем это случается не по добродетели, не в награду за какие-то качества. Вы сами знаете, что наши дружбы, любовь не завязываются как итог, который мы подводим, размышляя о другом человеке: он такой умный, такой добрый, такой красивый, такой еще что-нибудь, и в общей сложности у него баллов больше, и поэтому он мне будет друг, невеста, жених, приятель или что другое.

Об этом тоже говорит служба венчания. В следующей молитве говорится: **Господи, Ты от язык предобручивый Церковь, Невесту чисту...** Христос из всех языков и всех народов обручил Себе Церковь как чистую Невесту. Если мы подумаем о том, какова в этом доля реальности, мы никак не можем сказать этого про ветхозаветный Израиль, не можем мы этого сказать и про себя самих. Не потому Церковь, отдельный человек так воспринимаются, чтятся, что есть эта чистота и добродетель, а потому что человек, которого полюбили, делается тем, чем он, может, никогда и не был. Он получает качество вечности. Габриэль Марсель, французский писатель-экзистенциалист, говорит: сказать кому-нибудь: **я тебя люблю** – то же самое, что ему – или ей – сказать: **ты никогда не умрешь**. Потому что в тот момент, когда человек был **найден**, он уже содержится любовью. И не только во времени; это, мне кажется, можно говорить и о вечности вот в каком смысле.

На земле часто, поскольку мы не любимы, поскольку мы друг для друга чужие, мы стараемся существовать ограниченно, то есть в себе самих, утверждая себя по контрасту с другим, против другого или по различию, и существуем-то мы, именно утверждая свое существование: я – **не ты**, и я **есмы**. Но в тот момент, когда рождается любовь, случается действительно нечто в некотором отношении **разрушающее** и пугающее. Любить – значит перестать в себе самом видеть центр и цель существования. Любить – значит увидеть другого человека и сказать: для меня он драгоценнее меня самого. Это означает: постольку, поскольку нужно, я готов **не быть**, чтобы **он** был. В конечном итоге полюбить значит умереть для себя самого совершенно, так, что и не

вспомнишь о себе самом, – существует только другой, по отношению к которому мы живем. Тогда уже нет самоутверждения, нет желания заявить о своих правах, нет желания существовать рядом и помимо другого, а есть только устремленность к тому, чтобы **он** был, чтобы он был во всей полноте своего бытия. И в тот момент, когда человек отмечен чьей-то любовью, ему уже не нужно утверждать свое бытие, ему уже не нужно стать иным, чем другие, потому что он стал единственный; а единственный – **вне** сравнения, он просто неповторим, он без-подобен. К этому и должны вести наши встречи; вот какова встреча между Богом и каждым из нас. Для Бога каждый из нас – единственный, неповторимый, бесподобный, каждый из нас Ему достаточно дорог, чтобы Христос принял на Себя Воплощение и Крест. Каждый из нас имеет полноту значимости, но при всем этом и полноту свободы, потому что Христос никем не обладает; Он любовью Себя отдает, Он приобщается нам, но Его любовь есть свобода. Эта свобода рождается опять-таки от встречи, потому что Господь нас принимает, как мы есть, потому что Он **верит** в нас безусловно, потому что Он готов приобщиться нам до конца и потому что приобщение это взаимно.

Но здесь есть момент веры. В разных местах службы венчания говорится о том, что мы просим у Бога для венчающихся **крепкой веры**. Веры во что? Разумеется, веры в Бога – но не только: веры друг во друга, потому что первичное видение, которое случилось, когда два человека друга на друга посмотрели, друг друга увидели, может потускнеть. Идет время; многое проходит мимо: другие встречи, другие люди, другие обстоятельства – все это может заставить потускнеть то ясное и яркое видение, которое было изначально.

И вот тут человек **должен** сказать: нет, то, что когда-то я увидел, более истинно, более несомненно, чем тот факт, что сейчас я этого не вижу... И это очень важно. Потому что единственность этой брачной встречи, этой встречи любви **абсолютна**, и ее надо защищать от слепоты, от опьянения, которое нас охватывает, от неспособности воспринимать снова и вновь человека с изначальной, первичной яркостью этого видения. Часто бывает, что мы на человека посмотрели и прозрели вечное сияние в нем; а потом вглядываемся больше, больше, и больше и видим все более, и более, и более поверхностные его слои; и, начав с видения внутреннего таинственного человека, мы кончаем видением его физического “я”, умственных способностей, сердечных или других дарований, и нам это закрывает то, что в глубине есть, было и всегда будет.

У Мефодия Патарского есть место, где он говорит (вообще святые отцы наши были монахами, а чуткости сколько в них было!): когда человек любит другого, он на него смотрит и говорит: он мой alter ego, другой я сам. Когда только разлюбит, то говорит: здесь ego, а ты, дружок, alter; слова “дружок” он не употребляет, но, в общем, получается так: сначала два – едины, потому что каждый другому говорит то же самое, а потом трещина, и две единицы разъединились. И вот здесь, мне кажется, **колоссальное** значение имеет вообще все учение Церкви о **единственности** брачной любви, о том, что, если человек полюбил другого, он не должен никогда потом обманываться и думать: я ошибся, ибо то, что было открыто в тот момент, **нельзя** зачеркнуть. Того, что было открыто, ты не можешь вернуть никаким искусственным видением, но ты можешь жить верой. Если ты ослеплен в данную минуту, ты должен сказать: я слеп, но я видел **единственный свет**, о котором могу сказать alter ego, все остальное – это alter’ы вокруг, это просто совсем другой тип и склад отношений. И тут вопрос не в том, чтобы стиснуть зубы и сказать: **умру**, но останусь верен своей первой любви, – а в том, что человек должен сказать: я живу верой; то, что когда-то было мне показано, это рай, это видение вечное, и я не дам ничему себя обмануть, я никого и ничего не поставлю на один уровень с этим; это – невеста, а то – **люди**. Я хочу сказать: они люди, а не столы, стулья или собаки; это совсем не значит: раз люди, значит, вы для меня не существуете, пошли вон. Это значит, что **это** – единственный, а те – **другие**. Совершенно исключительно **одно** отношение, хотя каждое другое отношение, в пределах встречи, тоже единственно в своем роде. И тут вопрос не дисциплины или аскетики, а торжества ликующей, побеждающей веры.

Ответы на вопросы

Почему же так редко бывают встречи?

Нет, встречи не редки; мы просто не называем эти отношения встречами, не переживаем их как таковые и ярлыка не приделываем; а кроме того, мы и не стараемся встретить никого. Ведь вся жизнь заключается в том, чтобы сортировать овец и козлиц; и овец мы тоже сортируем, а уж козлиц исключаем совершенно: там козлищам и место. Вот и получается: какая же встреча – одна сортировка; несколько овец нашел, да и тех держишь с осторожностью, потому что ты же не овца, а они овцы.

А то они кусаются?

Нет, не то что кусаются, но у нас оценка овец очень разная бывает.

По шерсти?

Во-первых, по шерсти; во-вторых, когда они чистые, еще молоды и т.д., они милые зверята; а потом... Мне вспоминается один священник; он сам напечатал свои проповеди, потому что никто другой их не хотел печатать, и одна проповедь так начиналась: “Дорогие братья и сестры! Только что мы читали притчу об овцах и козлищах. И я видел по вашим лицам, как вы счастливы при мысли, что вы – овцы стада Христова; но, видно, никто из вас в деревне не жил. Пойдите в деревню и посмотрите, что такое овца: овца жадная, овца глупая, овца упрямая; без собаки и палки не справишься с ней – и вот вы такие и есть...”

Трудно за другим признать его право на существование...

Да; потому и разбивается столько дружб, столько браков, столько глубоких отношений. Знаете, английский писатель К.С. Льюис написал книгу: письма старого черта племяннику*; старый черт дает наставления молодому чертенку, который только что выпущен в свет и делает свои первые опыты соблазна и совращения людей. В одном письме он так говорит о любви: одного я не могу понять – в каком смысле Христос говорит, что любит людей? Вот я тебя люблю; что это значит? Это значит, что мне хочется тобою **обладать**; я хочу тебя взять, я хочу, чтобы ты был в моей власти совершенно, я хочу, чтобы ты и я слились, я хотел бы тебя **переварить** до конца, чтобы тебя не существовало вне меня. А мой **Враг** (так он называет в этих письмах Христа) говорит, что любит людей, и им дает свободу, и еще жертвует Собой для них. Где же любовь?... И вот очень часто наша любовь такова: я тебя так люблю, вот иди-ка, я тебя съем. Когда от тебя ничего не останется, когда ты будешь переварен до конца, тогда твое счастье будет неизмеримо...

А что же козлища?

А тех мы пожираем, тех мы грызем, рвем, кусаем.

Без удовольствия?

Ну, знаете, я бы не сказал; вы оптимисты, если думаете, что людей, которых мы не любим, мы без удовольствия рвем, кусаем зубами.

Иногда самых близких людей меньше-то всего и видишь, замечаешь...

Порой надо отойти на какое-то расстояние. Возьмите, например, картины или статуи: они создаются, чтобы на них смотрели с определенного места. Если вы отойдете слишком далеко от статуи – вы ее вообще не увидите; но если подойдете слишком близко, вы не будете видеть всех деталей, потому что с какого-то момента ваш обзор будет ограничен. Вы должны найти по своим глазам точку, от которой смотреть. То же самое с человеком. Вы его можете увидеть только на каком-то расстоянии, потому что иначе вы перестаете видеть человека, вы видите его отдельные черты, да и то вне контекста. Вы, наверное, пробовали: если взять портрет, фотографию и переменить только форму рта или брови, то лицо делается другим; поэтому вне контекста каждая черта ничего больше не значит. И так оно и есть; только мы очень редко находим мужество отойти и посмотреть на человека, чтобы его увидеть.

Не хватает емкости внутренней, много людей!

Да хоть на одного человека посмотрите – и на том спасибо!

А если нет предпочтения, а много людей, то как выбрать?

Знаете, хоть кого-нибудь. Вы оглянитесь вокруг себя, скажите: смотрю на Петра, на Ивана, на Машу – вот и все; как только научитесь, сделаете два шага назад и посмотрите, вы сразу увидите, до чего это интересно, гораздо интереснее увидеть лицо человека, чем свое собственное отражение в его глазах. Человек может быть умен или глуп, может быть такой или сякой, но если на него посмотреть не по отношению к себе, с той точки зрения, которая мне мешает или удобна,

то существуют и другие свойства. Когда мы с кем-нибудь не хотим разговаривать, то говорим: ну дурак, – и все. Это неправда; это определение одним словом целого человека, в ком масса других качеств. Вообще ум и глупость тоже понятия не то что относительные, но, скажем, есть люди, которые умом не умны, а сердцем так умны, что дай Бог побольше таких дураков. Но мы не всегда это видим, потому что не смотрим, потому что человек нам неинтересен сам по себе.

О богослужении и стиле христианской жизни (Мысли участника IV Ассамблеи Всемирного Совета Церквей)²⁸

В отличие от той Ассамблеи, которая имела место в Нью-Дели семь лет тому назад и преимущественно была посвящена вопросам веры и устройства, Упсальская Ассамблея запомнится как конференция, сосредоточенная на темах жизни и христианского делания. На ней Всемирный Совет Церквей, то есть большая часть христианского мира со всей силой убеждения, со всей озабоченностью любви и солидарности обратилась к проблемам современности: голоду, обездоленности, несправедливости, дискриминации, ко всем формам зла, порожденного человеческой недоброй волей или являющегося результатом горестных, трагических обстоятельств земной жизни.

Во всех обсуждениях, во всех дискуссиях меня поражала подлинность, искренность тех людей, которые в них принимали участие. От самых старых до самых молодых – все с глубоким сочувствием и пониманием хотели взять на себя ответственность за тот мир, который создан в течение двух тысяч лет под знаменем Христа и в который мы, христиане, внесли столько неправды.

Эта христианская озабоченность современностью – а мир современен и Богу и людям изо дня в день, из тысячелетия в тысячелетие – не случайна. В самой сердцевине христианской веры лежит тема солидарности Бога и – в Нем, ради Него, вместе с Ним – человека, верующего в Него, с судьбой мира. Еще в Ветхом Завете, в книге Иова, в девятой ее главе, истерзанный, измученный Иов восклицает: где же тот посредник, который положит руку свою на меня и на моего судью?.. Где же тот, – хотел он сказать, – кто согласится в этой трагедии несправедливости и обездоленности сделать шаг, который его поставит в центр конфликта; сделать такой шаг, после которого нет отступления, такой шаг, который делает его участником одновременно двух сторон этого конфликта? Ибо в этом заключается самая сущность христианского отношения к ответственности и к солидарности. Христианин **не выбирает сторон**; он видит неправду, он должен с ней бороться изо всех сил, но одновременно неправда не должна закрывать ему **человека**. Человек поступает нехорошо, но он остается человеком, и задача жизни не в том, чтобы стереть его с лица земли, его отодвинуть, дабы он путь дал другим, а в том, чтобы и его спасти, как об этом говорит с громадной силой и с такой убедительностью, основанной на принесенной им жертве, Кинг, в своем слове, которое было два раза цитировано на Ассамблее.

Для христианина поклонение Богу и служение человеку – одно и то же. Это две стороны одной медали. Мы не можем поклоняться Богу, Который есть любовь, без любви. Мы не можем исповедовать Бога, Который есть любовь, не воплощая эту любовь в жизнь. Мы не можем называться учениками Христа, Который взял на Себя трагическую солидарность и с Богом и с людьми одновременно, и отказываться от ответственности, от солидарности и с Богом и с людьми. Поэтому важное значение играла на Ассамблее секция, посвященная богопочитанию, поклонению Богу, богослужению, в работах которой мне довелось участвовать.

²⁸ Опубликовано первоначально в “Журнале Московской Патриархии” (1968, № 9). Ассамблея в Упсале – последнее официальное экуменическое собрание такого уровня, в котором принимал участие митрополит Антоний. При всей своей открытости всякому человеку вне вероисповедного признака и межконфессиональному диалогу на всецерковном уровне, Владыка позднее с печалью констатировал расплывчатость догматических критериев, признанных необходимыми для членства в ВСЦ, и чрезмерную вовлеченность этой организации в социально-политические конфликты современности. Ассамблеи ВСЦ собираются раз в семь лет; Русская Православная Церковь впервые участвовала в Ассамблее 1961 года (в Нью-Дели), когда и стала членом ВСЦ.

Наши собеседования на тему о богослужении показали, что две проблемы стоят сейчас перед христианским сознанием, два кризиса охватили тему богослужения и частной молитвы: с одной стороны – кризис веры, с другой – кризис собственно богослужения.

Кризис веры заключается в том, что в Америке и в целом ряде западных стран вера в Бога пошатнулась или, вернее, не вера в Самого Бога, а представление о Боге. Так называемое “новое”, “радикальное” богословие поставило перед лицом христиан образ Бога, который очень трудно поддается почитанию. Мы верим в Бога личного, в Бога Живого Ветхого и Нового Завета; многие же теперь, пройдя стадию веры в то, что апостол Павел называет Богом философов, то есть в Бога, о Котором можно думать, Которого можно себе представить, перешли через грань и перестали вообще себе представлять Того Бога, к Которому они обращаются в молитве. Этот Бог стал расплывчатым; Он является предметом разных умозрений, но не доступен диалогу. К Нему обратиться нельзя. И поэтому существует очень острый кризис богослужения, очень острый кризис личной молитвы.

Но, кроме этого основного кризиса, есть кризис, относящийся к форме богослужения. В богослужении есть два аспекта. С одной стороны, богослужение должно быть выражением веры, любви, надежды, живого отношения между Богом и человеком. С другой стороны, богослужение должно быть больше человека и больше самой общины: богослужение должно открыть целый мир не только понятий, но и опыта, который нам дает Сам Бог. Так вот, кризис охватывает обе эти стороны богослужения.

Прежде всего, те богослужебные формы, которые у нас есть, были созданы в древности и в последующие века. Они выражали с большой яркостью религиозный опыт и религиозные переживания тех людей, которые их создавали. Но прошли столетия. Не только сознание, но и мироощущение людей глубоко изменилось. И теперь очень многие чувствуют, что они не могут влить вино новое в мехи ветхие, что они не способны больше выражать себя до конца, полностью, со всей значительностью в тех формах, которые когда-то в совершенстве выражали их предков.

Здесь играет большую роль, во-первых, язык. Язык, на котором написаны, составлены молитвы и богослужебные чины, – это язык той эпохи, в которую они создавались. У нас это язык славянский, у греков – это уже недопонимаемый византийский язык. Поэтому очень многие трудности встречаются на пути того, кто хочет до конца пережить молитвенные слова, молитвенные образы, выражения. Существует очень много слов, которые потеряли свое значение; они уже не значат того, что значили в то время, когда эти молитвы были составлены. И поэтому очень часто молящийся не может пережить то, что перед ним лежит, потому что он не понимает, о чем идет речь. Если бы это были слова просто непонятные, он мог бы навести справку, узнать, что они значат. Когда же это слова, которые сохранились в русском, например, языке, но изменили свой смысл иногда почти до неузнаваемости, тогда человек не ставит себе вопроса, – и это еще хуже, так как он не понимает настоящего смысла молитвенных слов, молитвенных выражений и придает им иногда совершенно изуродованный смысл.

Но язык – это не только слова, это тоже образы, картины, переживания, которые связаны со словами и которые в одну эпоху могут быть очень живыми, а в другую эпоху почти что вымереть. Есть слова, которые принадлежат определенному времени, но потом тускнеют и вымирают; есть слова, которые рождаются и делаются крылатыми словами одного только поколения, и потом уходят в забвение. Это проблема очень острая и очень важная, потому что слова-то люди часто и понимают, но то, что они значат, то переживание, которое вложено было в них изначально написавшими эти слова, ускользает от людей, и молитвенные чины тускнеют. Влить в них новую жизнь можно: личной молитвой, созерцательным, молчаливым углублением в себя – **мимо** слов, но не **благодаря** тем словам, которые потеряли свой смысл.

В этом отношении для нас, для Русской Церкви употребление славянского языка является проблемой, – и не только за границей, но и в России. И странным кажется нам, живущим за границей, что на все языки мира можно переводить наши богослужебные чины, нашу дивную литургию, вечерню, утреню, часы, пасхальные и великопостные службы – кроме как на родной русский язык. Иным кажется, что славянский язык настолько близок к русскому, что не надо, **не стоит** этого делать. А некоторым кажется, что славянский язык по отношению к русскому

является как бы поэзией по отношению к прозе. Но это справедливо только для тех, кто знает славянский, то есть далеко не для всех, далеко не для большинства. Это привилегия небольшого и всё тающего меньшинства людей. И поэтому перед нами встает вопрос двоякий: с одной стороны, об употреблении живого языка вместо языка древнего, и, с другой стороны, о поновлении самого текста, ибо есть образы, картины, выражения, которые больше не вызывают умиления, которые в лучшем случае оставляют нас безразличными, а в худшем случае вызывают чувство недоумения, — делается как-то не по себе, “неудобно”. Это относится не к существу богослужения, а только к его форме, к его выражению. Если же говорить о существовании отдельных молитв, то, конечно, многие из них, написанные в древней Византии, не находят никакого отзвука в славянской душе. Некоторые образы, которые принадлежат Ветхому Завету, не находят никакого отзвука вообще в современном человеке. Иносказательно те или другие выражения мы готовы употреблять, но в прямом, живом смысле, с живым переживанием мы не в силах этого сделать. И об этом нам надо задумываться, потому что молитва должна быть **правдивой**; она не может быть условностью, она должна быть прямым, непосредственным выражением человеческого опыта, личного и сверхличного, человеческой души, соборности церковной, и не смеет быть археологическим воспроизведением того, что когда-то имело свой смысл, а теперь потеряло его.

В связи с этим, может быть, следует упомянуть и о символике богослужения. Богослужение наше имеет целью передать религиозный опыт, а этот опыт просто в умственных категориях передать нельзя. Он передается не только картинно, притчами, он передается символически, то есть через употребление, сочетание и движения, и слова, и музыки, и драматического как бы представления событий, которые таким образом доходят до сознания лучше, чем их можно довести только умственным изложением. Это относится не только к Церкви; символика существует и в литературе, особенно в поэзии, и в науке; она существует также и в политической жизни. Нет такой области, где бы не употреблялся тот или иной символизм, то есть где бы не употреблялись те или другие движения, выражения, формы выражения, которые несут смысл, которые доводят до сознания людей смысл, не заключенный просто в тексте или в предмете. Возьмите, например, флаг. Он значит для нас Родину. Это символ. То же самое — само слово “Родина”. Это не только определение географическое, общественное. В этом слове содержится целый мир переживаний, вся история, вся общность судьбы, все общие надежды, не только прошлое, но и всё будущее. Такое слово является символом.

В Церкви тоже есть символы, и употребляются они по тому же самому принципу, как все символы; только и они иногда тускнеют. Символы, которые имели полное, яркое значение в определенную эпоху, — потому что символ ведь не выдумывают, а берут из опыта, — потеряли свое значение, потухли, посерели. Их, конечно, можно обновить, — прежде всего чуткостью, потому что в основе всякого символического выражения лежит опыт, а этот опыт принадлежит всем людям; но с другой стороны, часто можно найти другой символ, современный, осмысленный, не на злобу дня, а имеющий пребывающее значение, который выражает в точности то же самое, что и прежний, но понятнее, который прозрачен, который сияет смыслом.

Если бы у нас не было проблемы языка, то есть непонятных слов и переставших быть понятными мыслей, образов, если бы наша богослужебная символика стала прозрачнее и понятнее, то не было бы вопроса о длительности богослужений. В России вообще длительность богослужений не переживается так, как она переживается западным миром. У нас еще сохранилась радость, счастье о том, что нам дано быть перед Божиим лицом, ликовать, петь, плакать, каяться, исповедовать, жить с Богом; не только перед Божиим лицом, как я только что сказал, но именно **с Ним**. Нам дано быть одним живым телом и обществом, не направленным к Богу, но живущим в Нем, с Ним, — с Тем Богом, Который сказал, что мы будем Его сыны и дети, а Он будет нашим Богом, — с Тем Богом, Который нам сказал через апостола Павла, что мы больше Ему не чужие, а свои, родные, Его семья, — с Тем Богом, Который нам позволяет называть Его Отцом в полном смысле этого слова. И тогда радость наша была бы прозрачная и чистая; не было бы этого сознания дурмана, в котором нас упрекают.

Действительно, если богослужение делается темным, непрозрачным, непонятным, то неверующий имеет право поставить вопрос о том, что же оно значит: не является ли оно

своеобразным опьянением; не порождает ли оно искусственно переживания, не относящиеся к Богу, к людям, а относящиеся только к самому себе, переживания, которые продлятся ровно столько, сколько продлится действие богослужения, переживания, которые имеют целью только усладить человека и не имеют никаких последствий.

Не таково истинное богослужение. Истинное богослужение, истинная молитва не порождают чувств как бы извне. Они дают свободу самым глубинным, самым подлинным чувствам подняться изнутри на поверхность. И эти чувства, раз уж они родились, никогда не угаснут. Они вошли в сознание, стали частью опыта, они не померкнут оттого, что потухнут лампы, замолкнет хор. Это целый мир внутренней жизни, который пришел в движение. И не наслаждение только они приносят, – они приносят покаяние, обращение к Богу и, главным образом, чувство глубокой, мужественной ответственности. Центр их не в себе, не в человеке, который молится, а в Боге и в ближнем, и плоды такого опыта должны быть явны. Кто-то говорил на собрании здесь, повторяя слова давно сказанные, что проба молитвы не в том, что вы пережили в субботний или воскресный день на богослужении, а в том, как вы живете между двумя богослужениями, от воскресного до субботнего дня.

Если действительно религиозный опыт подлинный, то цель его не в нас, а в Боге, в ближнем, и плоды его – любовь, служение, ответственность, жертва. И тогда можно говорить об обновляющей силе богослужения. Богослужение тогда делается не мертвым повторением, – оно делается тогда творчеством. В древности это сказывалось сотворением богослужебных чин. И сейчас эта возможность не умерла. Дух Святой Тот же и веет в Церкви, Христос Тот же и пребывает в Церкви, и наша жизнь, как говорит апостол Павел, сокрыта со Христом в Боге. Поэтому мы можем не только повторять то, что отцы древности написали, создали, мы можем научиться чему-то более важному от них: тому горению и той смелости, которые позволили им на основании опыта всей Церкви создать молитвенные чины, выражающие всецерковный опыт. И это продолжается и сейчас; напрасно думать, что этого нет. Из столетия в столетие в Церкви – православной и в инославных Церквях – составлялись молитвы, целые богослужебные формы; творчество это и сейчас не прекратилось. “Журнал Московской Патриархии” несколько раз печатал новые богослужебные тексты в восполнение того, чего не было до сих пор. Поэтому мы должны научиться, с одной стороны, соборной верности истине и опыту церковному, а с другой стороны, смелости пламенного духа, который никогда не удовлетворится простым повторением, который сумеет или обновить изнутри существующие молитвы, или создать новые молитвы, так же соответствующие, как и прежние, духу и опыту Церкви.

Я сказал уже, что по плодам судится молитва, не по переживаниям. Это слова Феофана Затворника. Но, с другой стороны, наличие такого отношения должно породить целый новый строй христианской жизни. Новый не в том смысле, что он должен быть глубоко непохожим на древность, а в том смысле, что перед новыми проблемами христианин должен занять новое положение. В древности так и было; отцы Церкви отзывались **на всё** случавшееся в жизни. Тертуллиан говорил, что ничто человеческое нам не чуждо. И теперь ничто человеческое нам не чуждо – ни в какой области, ни в какой мере, ни в каком смысле. Этим на Ассамблее занималась группа под названием “О стиле христианской жизни”. Она изучала вопрос, какова должна быть христианская жизнь, именно как **жизнь** – не как размышление, не как переживание, не как отношение к жизни, а именно сама **жизнь** – в наше время, в двадцатом веке, перед лицом всей трагедии, которую сейчас переживает человечество. Здесь было осуждено то удаление – ленивое, пугливое – христиан от мира, которое можно определить обратно тому, что говорил Христос. Он заповедал нам быть в миру, но не от мира сего, а мы поступаем наоборот: мы, по существу, от мира сего, но – бежим. Должна быть отрешенность от мира, то есть свобода, беспристрастие, но не должно быть отчужденности, трусости, забывчивости, холодности.

В центре современного сознания жизни христианина стоят слова “солидарность” и “ответственность”. Если мы претендуем на то, что мы – Христово стадо, что мы люди Христовы, то мы должны уметь занять то положение, которое занял бы Христос. Это дерзновенно, но это так, от этого не уйдешь. И поэтому современная жизнь христианина не отрицает монашеского ухода и отрешенности, так же, как она не может отрицать особых путей великого художника,

композитора; но в целом наше теперешнее христианское общество проникнуто сознанием, что весь мир стал единым, что есть в нем верующие и неверующие, но проблемы человека, проблемы земли принадлежат равно и тем и другим, и что мы должны стать вместе со всеми людьми доброй воли перед лицом этих проблем и внести в них то богатство понимания, которое не человеческое, а **Божие**, какое нам дано – не только в Священном Писании, но в опыте Церкви, в мысли церковной, и в сердце Церкви. И вот таким образом наше Бого-почитание, наше поклонение Богу, Который есть любовь, расцветает в любовь к человеку. И когда мы, христиане, это поймем, **только** тогда станем мы поистине и Христовыми и членами большого, сложного, порой трагического, но полного будущего, полного надежды человеческого общества, к которому мы принадлежим.

Духовность и духовничество²⁹

Тема моего доклада – духовность и духовничество или, если предпочитаете, духовное окормление или душепопечение.

Я хотел бы сначала определить слово “духовность”, потому что обычно, когда мы говорим о духовности, мы говорим об определенных выражениях нашей духовной жизни, таких как молитва, как подвижничество; и это ясно из таких книг, как, например, книги Феофана Затворника. Мне кажется, однако, надо помнить, что духовность заключается в том, что в нас совершает действие Святого Духа, и духовность не есть то, что мы ею обозначаем обычно, а эти проявления таинственного действия Духа Святого.

И это сразу нас ставит по отношению к духовничеству в очень четкое положение, потому что тогда речь не о том, чтобы человека воспитывать по каким-то принципам и научить его развиваться в молитве или аскетически по каким-то трафаретам. Духовничество тогда будет состоять в том, чтобы духовник, на какой бы степени духовности он сам ни находился, зорко следил за тем, что над человеком и в человеке совершает Святой Дух, возгревал бы Его действие, защищал против соблазнов или падений, против колебаний неверия; и в результате духовническая деятельность может представиться, с одной стороны, гораздо менее активной, а с другой стороны – гораздо более значительной, чем мы часто думаем.

Раньше чем пойти дальше, я хочу сказать два слова о том, что духовничество – не однозначное понятие. Есть, как мне кажется, три типа духовников.

На самом основном уровне это священник, которому дана благодать священства, который в себе носит не только право, но и благодатную силу совершать таинства – таинство Евхаристии, таинство Крещения, таинство Миропомазания, но также и таинство Исповеди, то есть примирения человека с Богом. Большая опасность, которой подвергается молодой неопытный священник, полный энтузиазма и надежды, состоит в том, что подчас молодые люди, выходящие из богословских школ, воображают, будто рукоположение наделило их и умом, и опытностью, и “различением духов”, и делают тем, что в аскетической литературе называли “младостарцами”; то есть, не обладая еще духовной зрелостью, не обладая еще даже тем знанием, которое дает просто личный опыт, они думают, что их научили всему, что может им помочь взять кающегося грешника за руку и повести от земли на небо.

И, к сожалению, это случается слишком часто, и во всех странах: молодой священник, в силу своего священства, но не потому, что он духовно опытен, и не потому, что Бог его к этому привел, начинается руководить своими духовными детьми “указами”: этого ты не делай; это ты делай; такую-то литературу не читай; в церковь ходи; отбивай поклоны... И в результате получается некая карикатура духовной жизни у его жертв, которые делают всё, что, может быть, и делали подвижники, – но те-то делали это из духовного опыта, а не потому что они дрессированные

²⁹ Доклад на Второй международной церковной научной конференции “Богословие и духовность” (Москва, 11-18 мая 1987 года), проведенной в рамках подготовки к празднованию Тысячелетия Крещения Руси. Текст печатается в редакции “Вестника Русского Западно-Европейского Патриаршего экзархата” (№ 117, 1989), одобренной автором. Доклад был издан также в сборнике материалов конференции (Тысячелетие Крещения Руси. М.: Изд. Моск. Патриархии, 1989) – чрезвычайно небрежно снятый с фонограммы, с множеством опечаток, в том числе даже в фамилии Владыки.

животные. А для духовника – катастрофа, потому что он вторгается в такую область, в которую у него нет ни права, ни опыта вторгаться. Я настаиваю на этом, потому что это насущный вопрос для священства.

Старцем можно быть только по благодати Божией, это харизматическое явление, это дар; и научиться быть старцем нельзя, так же как нельзя выбрать своим путем гениальность. Мы все можем мечтать о том, чтобы быть гениальными, но мы отлично понимаем, что Бетховен или Моцарт, Леонардо да Винчи или Рублев обладали такой гениальностью, которой нельзя научиться ни в какой школе, и даже нельзя научиться длительным опытом, но которая является Божественным даром благодати.

Я настаиваю на этом, может быть, слишком долго, потому что мне кажется, что это насущная тема – в России, возможно, более, чем на Западе, потому что роль священника в России гораздо больше центральна. И часто молодые священники – молодые или по возрасту, или по своей духовной зрелости или незрелости – “управляют” своими духовными детьми вместо того, чтобы их взращивать.

Взращивать – это значит относиться к ним и поступать с ними так, как садовник относится к цветам или к растениям: надо знать природу почвы, надо знать природу растения, надо знать условия, в которые они поставлены, климатические или другие, и только тогда можно **помочь** – и это всё, что можно сделать – помочь этому растению развиваться так, как ему свойственно по его собственной природе. Ломать человека для того, чтобы его сделать подобным себе – **нельзя**. Один духовный писатель Запада сказал: духовное чадо можно привести только к **нему самому**, и дорога внутрь его жизни бывает иногда очень долгая... В житиях святых можно увидеть, как большие старцы это умели делать, как они умели быть собой, но прозреть в другом человеке его исключительное, неповторимое свойство, и дать этому человеку, и другому, и третьему возможность быть тоже **самими собой**, а не репликами этого старца или, еще хуже, его трафаретным повторением.

Пример этому в истории Русской Церкви – встреча Антония и Феодосия Печерских. Феодосий был воспитан Антонием, и, однако, их жизнь ничего общего не имеет в том отношении, что Антоний был отшельником, а Феодосий – основоположником общего жития. Казалось бы – как мог Антоний приготовить его делать то, чего он сам не стал бы делать, и воспитать его таким человеком, каким он сам не хотел быть и к чему Бог его самого не призывал? Мне кажется, тут надо очень зряче различать между нашим желанием сделать человека подобным себе и желанием сделать его подобным Христу.

Старчество, как я сказал, это благодатный дар, это духовная гениальность, и поэтому никто из нас не может думать о том, чтобы вести себя подобно старцам. Но есть еще промежуточная область – это отцовство. И опять-таки, слишком часто молодой – и не такой молодой – священник, только потому, что его называют “отец такой-то”, воображает, что он не просто исповедальный священник, а действительно “отец”, в том смысле, в котором Павел говорил, что пестунов у вас много, но я родил вас во Христа; и то же самое в свое время говорил святой Серафим Саровский. Отцовство заключается в том, что какой-то человек – и это может быть даже не священник – родил к духовной жизни другого человека, который, взглядевшись в него, увидел, как старое присловье говорит, в его глазах и на его лице сияние вечной жизни и потому мог к нему подойти и просить быть ему наставником и руководителем.

Отца отличает также то, что он как бы одной крови, и в духовной жизни – одного духа со своим учеником, и может его вести, потому что между ними есть истинное, не только духовное, но и душевное созвучие. Вы, наверное, помните, как в свое время египетская пустыня была перенаселена подвижниками и наставниками, и, однако, люди не выбирали себе наставника по признаку его выдающейся славы, не шли к тому человеку, о котором говорилось больше всего хорошего, а находили такого наставника, которого **они** понимали и который **их** понимал.

И это очень важно, потому что послушание не в том, чтобы делать слепо то, что говорит некто, имеющий над вами или материально-физическую, или душевно-духовную власть; послушание заключается в том, что послушник, выбрав себе наставника, которому он верит безусловно, в котором он видит то, что он сам ищет, вслушивается не только в каждое его слово,

но вслушивается и в тон голоса, и старается через все проявления личности наставника и все проявления его духовного опыта перерасти самого себя, приобщиться к этому его опыту и стать человеком, который уже вырос за предел той меры, которой он мог бы достичь своими собственными усилиями. Послушание – это раньше всего стремление слушать и слышать не только умом, не только ухом, но всем существом, открытым сердцем, благоговейным созерцанием духовной тайны другого человека.

А со стороны духовного отца, который вас родил или который вас воспринял уже рожденными, но может быть отцом для вас, должно быть глубокое **благоговение** к тому, что в вас совершает Святой Дух. Духовный отец – так же, собственно, как любой добросовестный приходской священник – должен быть в состоянии (и это порой дается ценой усилия, вдумчивостью, благоговейным отношением к тому, кто к нему приходит) видеть в человеке ту красоту образа Божия, которая никогда не отнимается; если даже человек поврежден грехом, духовник должен видеть в нем икону, которая пострадала от условий жизни, или от человеческой небрежности, или от кощунства; видеть в нем икону и благоговеть перед тем, что осталось от этой иконы, и ради этой божественной красоты, которая в нем **есть**, работать над тем, чтобы устранить **все**, что уродует этот образ Божий. Отец Евграф Ковалевский, будучи еще мирянином, как-то мне сказал: когда Бог смотрит на человека, Он не видит в нем ни добродетелей, которых может и не быть, ни успехов, которых он не имеет, но Он видит незыблемую, сияющую красоту Собственного Образа... И вот, если духовник не способен видеть в человеке эту извечную красоту, видеть в нем уже начинающееся свершение его призвания стать по образу Христа богочеловеком, то он не может его вести, потому что человека не строят, не делают, а ему помогают вырасти в меру собственного его призвания.

И тут слово “послушание”, может быть, следует немножко уяснить. Обыкновенно мы говорим о послушании как о подчиненности, подвластности, а подчас и порабощении духовнику или тому, кого мы называли – совсем напрасно и во вред не только себе, но и священнику – духовным отцом или своим старцем. Послушание же заключается именно в том, что я сказал выше: в слушании всеми силами души. Но это обязывает в равной мере и духовника, и послушника; потому что духовник должен прислушиваться всем своим опытом, всем своим существом и всей своей молитвой, и скажу больше: всем действием в нем благодати Всесвятаго Духа, к тому, что совершает **Дух Святой** в человеке, который ему доверился. Он должен уметь проследить пути Духа Святого в нем, он должен благоговеть перед тем, что Бог совершает, а не стараться воспитать либо по своему образцу, либо по тому, как ему кажется, человек должен бы развиться, как “жертва” его духовного водительства.

И с обеих сторон это требует смирения. Ожидаем мы легко смирения со стороны послушника или духовного чада; но сколько смирения нужно священнику, духовнику для того, чтобы **никогда** не вторгаться в святую область, чтобы относиться к душе человека так, как Моисею приказал Бог отнестись к той почве, которая окружала купину неопалимую. И **каждый** человек – потенциально или реально – уже является этой купиной; и всё, что его окружает, это почва святая, на которую духовник может ступить, только изув свои сапоги, никогда не вступить иначе, чем как мытарь, стоящий у притолоки храма, глядящий в храм и знающий, что это область Бога Живого, место святое, и он не имеет права войти туда иначе, как если Сам Бог велит или Сам Бог подскажет, какое действие совершить или какое слово сказать.

Одна из задач духовника в том, чтобы воспитать человека в духовной свободе, в царственной свободе чад Божиих, и не держать его в состоянии инфантильности всю жизнь: чтобы он не прибегал всегда по пустякам, пусто, напрасно к своему духовному отцу, а вырос в такую меру, когда он сам научится слышать то, что Дух Святой глаголет неизреченными глаголами в его сердце.

И если подумать о том, что значит смирение, можно обратиться к двум коротким определениям. Первое – “смирение” по-русски это состояние примиренности, когда человек примирился с волей Божией, то есть отдался ей неограниченно, полностью, радостно, и говорит: “Делай со мной, Господи, что хочешь!” – но в результате примирился и со всеми обстоятельствами собственной жизни: всё – дар Божий, и доброе, и страшное. Бог нас призвал

быть Его посланниками на земле, и Он нас посылает туда, где мрак, чтобы быть светом; где безнадежье – чтобы быть надеждой; где радость умерла – чтобы быть радостью. И наше место не просто там, где покойно, в храме, или при совершении литургии, когда мы защищены взаимным присутствием, а там, где мы стоим в одиночку, как присутствие Христово во мраке обезображенного мира.

Если подумать затем о латинских корнях смирения, то *humilitas* происходит от слова *humus*, обозначающего плодородную землю. Подумайте – об этом тоже пишет Феофан Затворник, – что представляет собой земля: она лежит, безмолвная, открытая, незащищенная, уязвимая, перед лицом неба; она принимает от неба и зной, и лучи солнечные, и дождь, и росу, но она принимает также то, что мы называем удобрением – то есть навоз, отбросы, всё, что мы в нее кидаем, – и что случается? – она приносит плод, и чем больше она выносит того, что мы душевно называем унижением, оскорблением, тем больше она приносит плода.

И вот смириться – это раскрыться перед Богом так совершенно, чтобы никак против Него, против воздействия Святого Духа или против положительного образа Христа, Его учения не защищаться и быть уязвимыми для благодати, как в греховности нашей мы уязвимы бываем от рук человеческих, от острого слова, от жестокого поступка, от насмешки, – и отдать себя так, чтобы по нашему собственному желанию Бог имел право совершить над нами, **что бы Он ни захотел**: всё принимать, открываться, и тогда дать просто Святому Духу нас покорить.

Мне кажется, что если и духовник будет учиться смирению в этом смысле: видеть в человеке извечную красоту, и знать свое место (а это место такое дивное, такое святое: место друга жениха, которому невеста – не его невеста, но который поставлен оберечь встречу жениха и невесты), тогда духовник может действительно быть спутником своего духовного чада, идти шаг за шагом с ним, оберегая его, поддерживая его и никогда не вторгаясь в область Святого Духа; и тогда духовничество делается частью той духовности и того возрастания в святость, к которой каждый из нас призван и которую каждый духовник должен помочь своим духовным детям совершить.

Но где искать духовников? Беда в том, что старцев, даже духовников, нельзя искать, потому что мы можем обойти весь мир и не найти; но опыт подсказывает, что иногда Бог нам посылает нужного человека в нужную минуту хоть на короткий срок. И он тогда вдруг делается для нас тем, чем старцы были в продолжительном отношении. Знаете, я часто думаю, что мой как бы небесный покровитель – валаамова ослица, которая заговорила и сказала пророку то, чего он сам видеть не мог, в том смысле, что так часто ко мне приходит человек, и я не знаю, что ему ответить, и вдруг нечаянно скажу что-нибудь – и оказывается правильно. И я думаю, что в такой момент Бог тебе дает слово; но рассчитывать на то, что твой опыт, твоя начитанность тебе даст возможность это всегда делать, невозможно, и поэтому приходится очень часто благоговейно промолчать, а потом сказать человеку: знаешь, я сейчас не могу тебе ответить... И у нас есть замечательный пример в жизни Амвросия Оптинского; к нему приходили люди, прося совета, он их заставлял два-три дня ждать; и в одном случае купец пришел, говорит: мне надо возвращаться, у меня лавка закрыта, а ты мне ответа не даешь... И Амвросий ему ответил: не могу тебе ничего сказать! Я спрашивал ответа у Божией Матери, и Она молчит... И я думаю, что и мы могли бы сказать: я мог бы тебе от ума, от книг, от рассказов что-то сказать, но это было бы нереально, – и вот я не могу тебе ничего сказать. Молись, я буду молиться, если что-нибудь мне Бог на душу положит, я тебе напишу, я тебе скажу – и человек относился бы тогда к слову, которое ты скажешь, когда ты говоришь его, совсем иначе, чем когда на все случаи жизни у тебя прописные истины, потому что все наизусть знают твои прописные истины: единственный вопрос в том, что он не знает, которая к нему относится вот сейчас.

Теперь я хочу пояснить, что когда я говорил о гениальности, я не говорил ни о священстве, ни даже о категории духовного отцовства, а специально и исключительно о старчестве. И я употребил слово “гениальность”, потому что в области разговорного языка оно выражает то, что можно назвать иначе “благодатность”. В области мирской это гениальность музыкальная, артистическая, математическая – это нечто, чего мы не можем достигнуть никакими собственными усилиями. Поэтому я говорил не о священстве вообще, и, конечно, не думал порочить приходского священника, самого молодого, простого, но искреннего, который делает

свое священническое дело, исповедуя людей, делясь с ними тем, чему он научился от отцов Церкви, от богословов, от собственного духовника, от окружающей его христианской молитвенной среды. Это драгоценная вещь. Но есть момент, который меня немножко смущает: это то, что некоторые священники – и чем больше они духовно неграмотны и незрелы (это относится также и к мирянам, но сейчас я бью по священникам, потому что они “профессионалы”), тем легче они думают, что как только они облечены в рясу, надели епитрахиль, они будут говорить **от Бога**. Я помню очень уважаемого человека, которого сейчас многие считают великим старцем на земле, который мне говорил: я больше не молюсь, когда люди ставят мне вопрос, потому что так как после молитвы я говорю Святым Духом, то если они не исполнят точно то, что я скажу, они грешат против Духа Святого и им нет прощения... Вот это я имел в виду; это, конечно, слава Богу, крайность. И я в ужасе, что человек может думать, что потому что он трижды сказал: “Господи, просвети мой ум, еже помрачи лукавое похотение”, то следующие его слова будут просто пророчеством от Бога.

И я думаю, что тут просто элементарный разум играет роль: можно говорить о том, что ты знаешь достоверно. Скажем, беря пример громадного масштаба: святой апостол Павел мог говорить с совершенной достоверностью и уверенностью о том, что воскрес Христос, потому что он встретил живого, воскресшего Христа на пути в Дамаск; о некоторых других вещах он говорил не из такого первичного опыта. Другие люди также обладают определенным опытом, меньшего масштаба, может быть, меньшей силы, но о котором они могут говорить: “Да, я знаю достоверно” – как один безбожник, обратившийся к Богу, написал во Франции книгу под названием “Бог существует, я Его встретил”.

Священник – и мирянин – могут также говорить из опыта церковного, которому они причастны, даже если не обладают им полностью; потому что имея общие с другими некоторые опытные предпосылки, они могут прислушиваться к опыту других, опыту, который еще не стал полностью их опытом, но когда это нужно другому, они могут сказать: это – правда, потому что это говорит Церковь, и я знаю из недр церковных больше, чем я знаю из собственного опыта... И, наконец, есть вещи, о которых мы можем говорить только потому, что их нам открыл Господь.

Мысли о религиозном воспитании детей³⁰

Я совершенно уверен, что заниматься детьми может всякий человек, который их понимает и может им передать свою веру, – не только головные, умственные **знания** на религиозные темы, но **горение** собственного сердца и понимание путей Божиих. Мне кажется, что в идеале этим должны заниматься родители на дому или те люди при церкви, которые на это способны. Есть семьи, где дети хорошо образованы православно, но в среднем, родителям труднее научить своего ребенка, чем священнику, потому что священника ребенок слушает иначе. Правда, священнику обычно трудно этим заниматься: у него и богослужение, и требы, и различные другие обязанности.

У себя мы 38 лет тому назад создали приходскую школу, и она с тех пор растет. Два раза в месяц после литургии бывает урок; потом детей водят играть в соседний парк, чтобы они друг с другом ближе познакомились. Очень важно, чтобы они составили семью, которая в будущем будет приходской общиной. Летом мы устраиваем для них лагерь. Мы начали с небольшой группы, а в этом году (1987 – Ред.) у нас будет сто человек. По вашему масштабу это капля в море, но по нашему это много. Дети две недели живут вместе. Утром и вечером бывает молитва; бывают занятия по предметам веры в группах, занятия по рукоделию, спорт, походы. И это создает между детьми отношения, позволяющие им, когда они подрастут и дойдут до возраста, в котором подростки бунтуют против родителей, делиться своими впечатлениями или искать совета и помощи не в школе или на улице, а идти к своим товарищам по лагерю, по воскресной школе, то есть по Церкви, в конечном итоге, – и получать, конечно, совершенно иного рода ответы.

Раньше чем вырасти в меру христианина, человек должен быть просто **человеком**. Если вы прочтете в 25 главе Евангелия от Матфея притчу о козлицах и овцах, там вопрос ясно ставится:

³⁰ Текст был напечатан в журнале “Православная беседа” (1992, № 2-3). Это именно мысли Владыки на данную тему, собранные из разных его бесед и выступлений.

были ли вы человечны, выросли ли вы в меру настоящего человека? Только тогда вы можете вырасти в меру приобщенности Богу... Поэтому надо учить ребенка правдивости, верности, мужеству, таким свойствам, которые из него делают подлинно **человека**; и, конечно, надо учить состраданию и любви.

Если же говорить о вере, то надо передавать детям Живого Бога, – не устав, не какие-то формальные знания, а тот **огонь**, который Христос принес на землю для того, чтобы вся земля или, во всяком случае, каждый верующий стал бы **купиной неопалимой**, горел, был бы светом, теплом, откровением для других людей. И для этого нам надо передавать именно Живого Бога – примером своей жизни. Мне духовный отец говорил: никто не может отойти от мира и обратиться к вечности, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни... Вот **это** надо передавать: Живого Бога, живую веру, **реальность** Бога; все остальное приложится.

Я не восторгаюсь, когда детей учат методически, скажем, что жизнь Иисуса Христа протекала так-то и так-то. Детям нужна не осведомленность, а те вещи, которые могут дойти до них; нужен живой контакт, который может взволновать душу, вдохновить. Нужна не просто история как **История**. Пусть рассказы будут разрозненные, – в свое время они найдут свое место. Очень драгоценно то, что ребенок часто знает о Боге и о тайнах Божиих больше, чем его родители. И первое, чему родители должны научиться, это – не мешать ему знать, не превращать опытное знание в мозговой катехизис. Я сейчас не хочу порочить катехизис как таковой; но бывает, что ребенок **знает** – а его заставляют **формулировать**. И в тот момент, когда, вместо того чтобы он знал всем нутром, его заставили заучить какую-то фразу или какой-то образ, все начинает вымирать.

Как я уже сказал, мне кажется, что не очень-то помогает ребенку знать все факты из Евангелия как **факты**. Разумеется, если вы любите кого-нибудь, вам хочется знать, что с ним случилось; но сначала надо полюбить, а потом начинать собирать факты. Я вспоминаю преподавание Закона Божия в Русской гимназии в Париже: детям рассказывалась жизнь Господа Иисуса Христа, надо было заучить или тропарь, или отрывок из Евангелия; и все это “надо было” делать, за все это ставились отметки наравне с арифметикой или естествознанием. И это только губило живое восприятие, потому что – не все ли равно, в какой последовательности что случилось?

Но, с другой стороны, самые евангельские факты и рассказы о них так полны интереса и красоты, что если цель – не **заучивание**, а приобщение детей этому **чуду**, что-то может получиться. В Лондоне я шесть лет занимался с детьми от семи до пятнадцати лет. Их было слишком мало, чтобы создать возрастные группы; и очень трудно было им “преподавать”. Поэтому мы садились вокруг длинного стола, брали евангельский отрывок и обсуждали его вместе. И порой оказывалось, что шустрый семилетний мальчик может быть гораздо более живым собеседником, чем четырнадцатилетний, – и сглаживались трудности. Это зависело от восприимчивости, от реакции, не только от ума, но от всей чуткости. Так мы проходили воскресные Евангелия, праздничные Евангелия. Сначала я им рассказывал Евангелие как можно более живо, красочно, употребляя там-сям фразу из текста, но не обязательно **читая** его весь, потому что очень часто евангельский текст слишком гладкий, внимание детей скользит по нему. Затем мы его обсуждали, и постепенно подходили к тому, чтобы прочесть текст так, как он в Евангелии стоит. По-моему, надо создавать живой интерес и живую любовь, желание знать, что дальше и почему.

В других случаях мы обсуждали нравственные проблемы. Скажем, я помню, мальчик Андрей разбил дома окно, и мы его попросили нам объяснить: почему он бьет окна у себя дома? Я не хочу сказать, что бить у соседа – более оправданно; но – почему это ему пришло в голову? И получилась большая, живая дискуссия между детьми о том, почему это может случиться. И постепенно в ходе дискуссии начали выплывать фразы из Священного Писания, описывающие или характеризующие те настроения, которые дети выражали. И эти дети мне как-то сказали: но это же поразительно! Все, что в нас есть: и добро, и зло – можно выразить словами Спасителя или апостолов. Значит, все там есть, – я **весь** в Евангелии, я **весь** в Посланиях... Вот это, я думаю, гораздо более полезно, чем заучивание.

Вот и все мое, очень скудное, знание о воспитании детей. Сам я не был верующим ребенком, до пятнадцати лет Бог для меня не существовал, и я не знаю, что делают с ребенком для того, чтобы его воспитать в вере. Поэтому я не берусь за маленьких детей; я берусь за детей, только когда могу с ними говорить, то есть лет с десяти, с девяти. Я только одно знаю: над ребенком надо молиться. Беременная женщина должна молиться, должна исповедаться, причащаться, потому что все, что с ней случается, случается с ребенком, которого она ожидает. Когда ребенок рожден, надо над ним и о нем молиться, даже если почему-либо не молишься вместе с ним. А чтобы молиться вместе, мне кажется, надо искать молитвы (допустимо их и сочинять), которые могут дойти до ребенка, – не вообще до ребенка, а именно до **этого** ребенка. Чем он живет, кто он такой, как, будучи собой, он может говорить с Богом – это знают только родители, потому что они знают, как их ребенок говорит с ними.

Другое: мы умудряемся превратить в неприятную обязанность то, что могло бы быть чистой радостью. Помню, я как-то, по дороге в церковь, зашел за Лосскими (мы жили в Париже на одной улице). Они собираются, одели троих детей, а четвертый стоит и ждет, но его не одевают. Он спросил: “А я что?” И отец ответил: “Ты себя так вел на этой неделе, что тебе в церкви нечего делать! В церковь ходить – это честь, это привилегия; если ты всю неделю вел себя не как христианин, а как бесенок, то сиди во тьме крошечной, сиди дома...”

А мы делаем наоборот; мы говорим: ну пойдешь, пойдешь, покайся, скажи батюшке..., или что-нибудь в этом роде. И в результате встреча с Богом все больше делается долгом, необходимостью, а то и просто очень неприятной карикатурой Страшного суда. Сначала внушают ребенку, как ему будет ужасно и страшно признаваться в грехах, а потом его насильно туда гонят; и это, я думаю, плохо.

Исповедуются у нас дети с семи лет, иногда немножко моложе или немножко старше, в зависимости от того, дошли ли они до возраста, когда могут иметь суждение о своих поступках. Иногда ребенок приходит и дает длинный список своих прегрешений; и вы знаете, что прегрешения-то записала мамаша, потому что ее эти разные проступки чем-нибудь коробят. А если спросишь ребенка: “А ты действительно чувствуешь, что это очень плохо? – он часто смотрит, говорит: Нет... – А почему же ты это исповедуешь? – Мама сказала...”

Вот **это**, по-моему, не надо делать. Надо ждать момента, когда ребенок уже имеет какие-то нравственные представления. На первой исповеди я не ставлю вопрос о том, сколько он согрешил, и чем, и как (я вам себя не даю в пример, я просто рассказываю, что я делаю). Я говорю примерно так: “Вот, ты теперь стал большим мальчиком (или: большой девочкой). Христос тебе всегда был верным другом; раньше ты это просто воспринимал как естественное и должное. Теперь ты дошел до такого возраста, когда ты можешь, в свою очередь, стать верным другом. Что ты знаешь о Христе, что тебя в Нем привлекает?..” Большею частью ребенок говорит о том или о сем, что ему нравится или что его трогает во Христе. Я отвечаю: “Значит, ты Его понимаешь в этом, ты любишь Его в этом и можешь быть Ему верным и лояльным, так же как ты можешь быть верным и лояльным своим товарищам в школе или своим родителям. Ты можешь, например, поставить себе правилом найти способ Его радовать. Как ты можешь Его порадовать? Есть вещи, которые ты говоришь или делаешь, от которых Ему может быть больно...” Иногда дети сами говорят что-нибудь, иногда нет. Ну, порой можешь подсказать: “Ты, например, лжешь? Ты в играх обманываешь?..” Я никогда не говорю о послушании родителям на этой стадии, потому что этот способ родители часто употребляют, чтобы поработить ребенка, используя Бога в виде предельной силы, которая на него будет воздействовать. Я стараюсь, чтобы дети не путали требования родителей и свои отношения с Богом. В зависимости от того, кто этот ребенок, можно ему предложить разные вопросы (о лжи, о том или другом) и сказать: “Вот хорошо; обрадуй Бога тем, что то или се ты не будешь больше делать, или хоть будешь стараться не делать. А если сделаешь, тогда кайся, то есть остановись, скажи – Господи! Ты меня прости! Я Тебе оказался не добротным другом. Давай, помиримся!..” И приходи на исповедь, чтобы священник тебе мог сказать: “Да, раз ты каешься и жалеешь, я тебе от имени Бога могу сказать: Он тебе это прощает. Но подумай: как жалко, что такая красивая дружба была разбита...”

Пост для детей надо проводить разумно, то есть так, чтобы он не был сплошной и бессмысленной мукой, а имел бы воспитательное качество. Мне кажется, для ребенка важнее начать пост с какого-то нравственного подвига. Надо ему предложить, дать ему возможность себя ограничить в том, где больше проявляется лакомство, жадность, а не в качестве той или иной пищи. Надо, чтобы он это делал, сколько может, в сознании, что этим он утверждает свою преданность Богу, побеждает в себе те или другие отрицательные наклонности, добивается власти над собой, самообладания, учится управлять собой. И надо постепенно увеличивать пост, по мере того как ребенок может это сделать. Ясно, что нет необходимости есть мясо: вегетарианцы никогда его не едят, и при этом живут и процветают, так что неверно говорить, что ребенок не может поститься без мяса. Но, с другой стороны, надо учитывать, что ребенок может сделать по состоянию здоровья и по своей крепости.